

ЭНМЕРКАР

ДОРОГИ МАГА
ТИСОРОЖДЕННЫЙ ЭРИУТЕНА

Эн Меркар

Дороги Мага.

Тисорожденный Эриугена

«Автор»

2026

Меркар Э.

Дороги Мага. Тисорожденный Эриугена / Э. Меркар — «Автор»,
2026

Книга Энмеркара «Дороги Мага. Тисорожденный Эриугена» — художественная биография Иоанна Скотта Эриугены, основанная на воспоминаниях автора о своём прошлом воплощении. Роман прослеживает путь Эриугены от детства в суровой северной Ирландии и монастырского обучения до Франкии и двора Карла Лысого — одного из интеллектуальных центров эпохи. Историческая реконструкция соединяется с философским содержанием. Книга охватывает ирландскую монастырскую учёность, Каролингское возрождение, спор о предопределении и обращение Эриугены к греческому богословскому наследию, прежде всего перевод Дионисия Ареопагита. Герой предстаёт не только мыслителем, но и живым человеком, ищущим связь между разумом, верой, природой и языком. Это книга о встрече античной мысли, христианского богословия и ирландской духовной традиции — и о человеке, чья жизнь прошла между Ирландией и Франкией, монастырём и королевским двором, богословским спором и философским поиском.

© Меркар Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие	5
Часть 1. Каменное гнездо (802-809)	11
Глава 1. Рождение и тень	11
Глава 2. Волчья школа	17
Глава 3. Дыхание фей	23
Глава 4. Фахан Муры	31
Часть 2. Тень святого Муры (809-819)	38
Глава 1. Маэл Калайинн	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Эн Меркар

Дороги Мага. Тисорожденный Эриугена

Предисловие

Имя [Иоанна Скотта Эриугены](#) (802-880) сегодня известно разве что в узких кругах специалистов. Его знают историки средневековой мысли, исследователи латинской патристики, специалисты по Дионисию Ареопажиту, те, кто изучает ранних авторов европейской философии. Однако для широкой культурной памяти он остается фигурой как будто полускрытой: имя может быть на слуху, но очертания неясны, и даже признавая его влияние, образ самого человека уже практически потерян. Между тем в свое время Эриугена был человеком своего рода легендарным. О нем знали при дворах, его любили опровергать в богословских спорах, его переводов ждали, его формулировок опасались. Он принадлежал к числу тех редких людей, вокруг которых создается не только ученая репутация, но и особая неоднозначная, порою даже скандальная, аура. Такие люди кажутся современникам словно неуместными в их мире, и в каком-то смысле так оно и бывает.

Эриугена жил в эпоху, когда старый мир уже ушел, а новый еще только учился создавать собственные мысли и смыслы. Античность давно завершилась, ее школы были рассеяны, ее язык перестал быть общим воздухом образованных людей Запада, однако сама внутренняя работа античного ума еще не иссякла. Она продолжала жить в рукописях, в переводах, в памяти ученых и книжников, в поздних отблесках греческого Востока, в редких людях, способных удержать огромную традицию внутри одного потока сознания. Эриугена принадлежал именно к таким людям.

Его тексты можно назвать «последним вздохом» античной философии, одетым в христианские образы и термины. При этом речь идет не о внешнем заимствовании и не о литературном приеме. В его сочинениях античное мышление продолжает жить в своей сути, в жажде целого, в максимальном доверии к разуму, в чувстве космического порядка, в стремлении пройти от проявленного – к первопричинам, от имен к смыслам, от множества к единству. Христианский язык у Эриугены служит формой этой жизни, ее историческим телом, литургической и догматической одеждой. Однако под этой одеждой еще горит древний метафизический дух, сохранивший память о Платоне, неоплатониках, каппадокийцах и о той великой традиции, для которой мысль была одновременно восхождением, очищением и возвращением.

Именно поэтому Эриугена так трудно укладывается в привычные рамки и определения. С одной стороны, он – христианский богослов, но вместе с тем – и философ в классическом смысле этого слова. Он также комментатор и переводчик, но при этом за его переводами стоит творческая сила, способная вновь привести в движение целые пласты духовной истории. Он – человек двора франкского короля Карла Лысого и участник вполне конкретных богословских конфликтов IX века, однако в его работах хорошо заметен голос и куда более древнего мира. В нем есть нечто от позднего эллина, оказавшегося в латинском Средневековье, и вместе с тем – что-то от ирландского мудреца или друида, принесшего на континент память о другой школе мышления; в нем можно увидеть и что-то от созерцателя, для которого мысль еще не разошлась с молитвой, а знание еще не стало чисто служебным инструментом.

Именно поэтому Эриугена важен именно сегодня, когда европейский человек вновь живет на переломе. Наш век переполнен информацией, но вместе с тем – страдает от утраты смысла. Он располагает невиданными средствами сообщения, однако все чаще утрачивает способность к внутреннему пониманию. Он хорошо умеет расчленять, сравнивать, измерять, архивировать, но с трудом удерживает целые картины. На наших глазах язык обесценивается

от избытка употребления; великие слова легко превращаются в признаки принадлежности, в инструменты идеологии, в товар, в шум. В такой час особенно значим мыслитель, для которого слово не отдельно от самого бытия, для которого разум не является простой машиной классификации, а выступает путем возвращения к истокам мира. Эриугена хорошо понимал, что мысль имеет ценность лишь тогда, когда она ведет ввысь; что природа – это в определенном смысле книга, но эта книга живая; что откровение и разум не обязаны враждовать; что тайна не уничтожает понимание, а, напротив, придает ему новую глубину.

Он также важен потому, что его сочинения ставят те вопросы, от которых современность уходит в своих рассуждениях. Что такое природа? Можно ли отыскать у бытия внутреннее единство? Каким образом множественность объектов происходит из единого первоисточника и каким образом возвращается к нему? Где проходит граница между символом и реальностью? Что значит говорить о Боге, если всякое имя одновременно открывает и скрывает? Все эти вопросы пережили и Каролингское возрождение, и схоластику, и Новое время. И несомненно, что они переживут и наш век, каким бы самоуверенным он ни казался. Более того, в эпоху усталости от плоского материализма и столь же плоской сентиментальной духовности Эриугена может снова стать ценным собеседником. Он показывал, что мысль способна быть строгой без сухости, религиозной без узости, смелой без театрального переигрывания.

Но есть и еще одна причина, по которой эта фигура заслуживает внимания. История иногда развивается через загадочные внутренние линии, которые проходят сквозь многие века. Бывает, что в разных эпохах, разделенных столетиями, вдруг проступает один и тот же духовный почерк: одна и та же тяга к всеобъемлющему синтезу, одно и то же доверие к разуму как к свету, одна и та же потребность соединить религию, философию и прагматизм в цельный образ. Такого рода сходство невозможно свести к обычным влияниям, цитатам или случайным перекличкам идей. Часто оно коренится намного глубже формальных биографий и сильнее ученой преемственности. История мысли знает фигуры, между которыми протекает глубинная внутренняя созвучность, словно одна внутренняя работа продолжается под разными именами, в других странах, в иных одеждах времени.

И таким продолжением образа мыслей Эриугены оказывается фигура уже упомянутого нами в «Дорогах мага» Августина Анконского. Их разделяют века, разные политические миры, иная церковная ситуация, иные формы и модальности письма. Однако внимательный взгляд без труда может заметить нечто большее, чем простое сходство тем. В обоих случаях появляется ум, ищущий вселенскую стройность; воля, стремящаяся удержать распадающийся мир в пределах высшего порядка; душа, для которой истина – это не отдельный тезис, а живая иерархия бытия. Такое узнавание происходит интуитивно, но оно всегда прочно. Ему достаточно нескольких интонаций, нескольких поворотов мысли, нескольких слабоуловимых совпадений внутреннего способа миропонимания. Можно сказать, что Августин – это Эриугена, который решил перейти от теории к практике. Они оба не терпят фрагментарности и стремятся свести все многообразие мира к единой точке управления.

Оба мыслителя — и Эриугена в IX веке, и Августин Анконский в XIV — воплощают архетип «придворного философа», который строит универсальные метафизические системы под защитой светской власти.

Августин Анконский учился и преподавал в Парижском университете около 1300 года. Париж был тем самым местом, где за 450 лет до него Эриугена возглавлял придворную школу и переводил Дионисия Ареопагита. Строя свою теорию папской власти, Августин опирался именно на концепцию иерархии Дионисия. Скорее всего, он читал Дионисия именно в переводе или под редакцией Эриугены. В его эпоху идеи о «Божественных идеях как матрицах», были частью широкого теологического дискурса. Эриугена был тем, кто первым «привил» эту систему западному богословию.

И тогда, как Эриугена описывал, как божественный свет струится сквозь чины ангелов, Августин говорил, как этот же свет (в форме власти) струится от папы к королям. При этом сама суть системы остается неизменной — передача энергии по вертикали. Другими словами, благо (или власть) легитимно только тогда, когда оно включено в эту вертикальную цепь передачи.

Тогда, как Эриугена описывает Логос как совокупность «Первообразов» или «Причин», которые создают структуру мироздания, как «чертежи природы», Августин переносит этот Логос в сферу Канонического права. Для него Закон — это и есть Логос в действии. Порядок в обществе для Августина так же священен и математичен, как порядок планет для Эриугены. И для обоих текст Библии — это бесконечный лабиринт смыслов, в котором скрыт сам генетический код мироздания. Соответственно, чтение Писания — это процесс созерцания того, как Божественный Разум структурирует реальность.

Именно Эриугена впервые вводит на Западе греческое понимание *Energieia* как живого присутствия Бога в каждой частице мира, а Августин доводит это до концепции *Potestas absoluta*, где Власть — это живая, вибрирующая энергия, которая связывает небо и землю в единый организм. Там, где Иоанн видел «энергии», Августин видел «полномочия». Там, где Иоанн видел «свет», Августин говорил о «праве». Однако при этом сама структура, логическая «сетка», с помощью которой они структурировали реальность, у них идентична.

Эриугена учил, что Бог стоит выше закона и выше разума. Он может делать все, что хочет, потому что он и есть источник всего. Другими словами, Бог у Эриугены — это «Сверхсущность», не скованная никакими рамками. И Августин переносит это же качество на Папу Римского. Его знаменитый тезис о том, что власть папы «не имеет меры» (*sine mensura*), является прямой проекцией представлений Эриугены о бесконечности Бога.

Таким образом, мысль развивается от попыток объяснить мир как природу (Эриугена) к попыткам структурировать мир как волю и закон (Августин). Так философское «зерно», посеянное в раннем Средневековье, дает свой «политический плод» в эпоху зрелой схоластики. Это — душа исследователя, которая в IX веке была очарована красотой системы, а в XIV веке — ее эффективностью. Можно сказать, что в IX веке она действовала в режиме «инсталляции» (перевод и создание базы), а в XIV веке — в режиме «эксплуатации» (применение к политической реальности).

Поэтому мне хотелось написать не просто биографию ученого IX века, а сделать попытку транслировать голос человека, живущего на изломе времен, когда античный Логос входил в христианский мир, не теряя своей глубины, и когда сама Европа еще могла помнить, что мысль — это особая форма духовного подвига.

Для меня очень важно и лично обоснованно показать Эриугену и в его исторической плоти, и в его более трудном измерении — как фигуру, стоящую на пороге. Он находился и на границе Ирландии и Франкии, и греческой и латинской мысли, на границе монастырской школы и придворного круга, мистики и диалектики, прошлого и будущего.

Можно исследовать образ Эриугены как переводчика, как богослова, как философа природы, как участника каролингской учености. Но все же за этими определениями постоянно чувствуется остаток, превышение, избыток смысла. Значимые фигуры прошлого продолжают действовать именно той мерой внутреннего пространства, которое они открывают в каждом.

Книга, которую вы держите перед собой, родилась из уверенности, что время Эриугены еще не прошло. Возможно, в некотором смысле оно только начинается. В эпоху распада связей, огрубления языка и потери метафизической памяти возвращение к нему может стать своеобразным актом восстановления целостности. Для него подлинная философия не ограничивается анализом понятий, она касается самой судьбы человека и человечества, строения мира и пути возвращения к Целостности.

Потому и эта книга обращена одновременно в две стороны. Она всматривается и в IX век, в его монастыри, дворы, рукописи, политические страхи и богословские битвы. Но вместе с тем, она смотрит вперед — туда, где вновь решается вопрос о ценности, возможностях и ограничениях разума, о пределах языка, о свете, который еще способен пройти через историю.

И, наконец, у этой книги есть и глубоко личный источник. Для меня, как для автора, Эриугена и Августин Анконский давно перестали быть только историческими фигурами, предметом ученого интереса или именами, связанными с определенными эпохами и текстами. В их судьбах, в их способе мыслить, в их напряженном движении к целому я чувствую нечто глубоко родственное, словно одна и та же душа вновь и вновь проходит через разные века, меняя облик, язык, страну, но сохраняя внутреннюю задачу. Поэтому обращение к жизни Эриугены стало для меня не попыткой художественной реконструкции чужой биографии, а ценным опытом внутреннего узнавания, исповедальным возвращением к тем вопросам, которые сопровождали его (меня) самого. И чем дальше разворачивается этот рассказ, тем яснее становится, что перед вами — не только история человека IX века, но и духовная автобиография, написанная спустя историческую дистанцию, но в потоке живой памяти, в смутном, но достоверном и настойчивом ощущении личной причастности к этой судьбе.



Часть 1. Каменное гнездо (802-809)

Глава 1. Рождение и тень

Первые воспоминания моей жизни связаны с ветром и холодным воздухом. Они приходят в холоде рассветного камня, со вкусом соли на губах, как долгий гул шторма, который поднимался от воды, огибал холмы и входил в круглые стены каменного круга с таким постоянством, словно сам был неотъемлемой частью моего дома.

Детство началось для меня на вершине холма, среди серого камня, всегда влажной травы и широкого неба, там, где даже молчание казалось больше человеческого роста.

Об обстоятельствах моего рождения в доме говорили много, хотя сам я, разумеется, помнил о нем лишь с чужих слов, они отражались в печальных взглядах и в той особой тишине, которая всегда ложилась на имя моей матери. Я появился на свет в замке Грианан Айлех в год, когда сырой северный ветер подолгу ходил между стенами, а над двумя заливами часто висел низкий серый свет. Женщины потом говаривали, что в ту ночь дождь то усиливался, то отходил к морю, словно сам воздух ожидал, чем завершится тяжелый труд рождения. Для благородного дома появление младшего сына было делом, конечно, важным, но не судьбоносным. А вот для моей матери этот час стал последним, и в самом начале жизни мне была дана двойная участь: радость вхождения в мир одновременно со скорбью, легшей на это вхождение с первого дыхания.

Я родился в то время года, когда северная земля уже теряет мягкость осени и входит в долгую суровую прозрачность зимы. Трава уже потемнела, кусты редели, ветви стояли открытыми под ветрами, и лишь немногие деревья сохраняли на себе живую зелень. Среди них особенно заметен тис. Он не сбрасывает свою темную хвою, когда прочие уже стоят обнаженными. Он сохраняет свой цвет в самую бедную пору года, словно хранит в себе память о неумирающем соке жизни. Теперь мне кажется, что и это не прошло мимо старших, когда они выбирали для меня имя. Ребенок, появившийся на свет в холодное время, под небом, где почти вся зелень уже ушла из видимого мира, естественно соединялся в их мысли с деревом, которое не уступает зиме.

Однако в домах, подобных нашему, имя всегда связывает новорожденного и с памятью рода, с почитанием старших, с уже прожитой славой, которую надлежит продолжить в новой плоти. Поэтому меня называли Эогайн — в честь Эогана мак Нейлла, древнего предка, от которого наш род вел свое благородное происхождение. Его имя словно прорастало в самой ткани земли, в именах людей, в памяти о том начале, из которого вырос род *Cenél n'Eógain* и все его права господства над этими суровыми пространствами. Когда такое имя произносят над колыбелью, вместе с ним ребенку передают не только благословение, но и ответственность. В нем уже слышны былые победы, давние верности, кровь, пролитая за холмы и броды, память о мужах, чья сила вошла в песни и генеалогии. И пока я еще ничего не знал об этом, лежа в шерстяных пеленах под кровлей Айлеха, имя уже было возложено на меня, как надевают плащ на плечи мальчика, которому однажды предстоит нести весь вес своего дома.

Старшие, вероятно, слышали в этом имени прежде всего знак преемственности. Для них оно возвращало в каменный круг давний родовой корень, укрепляло цепь памяти и словно заново подтверждало, что север опирается на собственное старшинство. Позднее я понял, что имя Эогайн было в Айлехе чем-то большим, чем личное именование. Оно принадлежало самому дыханию этого места. Его носили предки, оно звучало в самом представлении о кровном праве на эту суровую высоту. С первых дней моей жизни дом окружил меня не только

камнем, ветром и родичами, но и этим древним звуком, в котором родовая память уже соединилась с моей еще безмолвной судьбой.

В первые месяцы после моего рождения на меня, как видно, смотрели с надеждой более значительной, чем это бывает с младшим сыном. У моей матери уже была дочь, и потому сын, рожденный от ее брака с королем Аэдом, мог показаться людям знаком особого будущего. В таком ребенке соединялись две благородные династии: северный дом Айлеха и южная кровь Кланн Холмайн. Для людей, привыкших думать о родах, союзах и правах, это значило много. Во мне могли видеть не только младшего сына короля, но и живую возможность связать в одной плоти два королевских рода Ирландии — суровый край и плодородную середину, стражу пределов и память о священном центре.

Думаю, в те дни некоторые старшие уже примеряли на меня ту судьбу, которую любят воображать при колыбели знатного младенца: быть однажды символом согласия между разными ветвями общего древа. Такие надежды живут до тех пор, пока сам дом готов их принимать. Однако смерть матери слишком скоро изменила само значение моего появления в Айлехе. То, что сперва могло показаться обещанием редкого единения, стало напоминанием о трудном браке, о чужой южной крови и о ребенке, чье присутствие нарушало внутреннюю однозначность престолонаследия. Потому позднее об этих первых ожиданиях предпочли позабыть. Память о возможности всегда гаснет быстро, когда двор начинает склоняться к другим сыновьям.

Наш замок огромным кругом высился над водой, и эта высота создавала особое ощущение избранности. И хотя я еще ничего не знал ни о царствах, ни о пределах рода, ни о том, почему одни люди глядят вниз с чувством власти, а другие с чувством опасения, я чувствовал, что наш дом глядел дальше иных домов. С западной стороны лежал залив Лох-Суилли, тяжелый, темный, открытый перемене погоды. С восточной стороны простирался второй залив — Лох-Фойл, иной по очертанию, другой по блеску, но все же родственный первому той же широтой водной глади. Между этими двумя водами поднималась земля полуострова Инишоуэн, и над нею, словно венцом возвышался каменный круг замка. Уже в детстве мне казалось, что место для дома выбирают не люди, а сама земля, когда хочет, чтобы на ней поселились память, дозор и гордость.

Айлех был виден издалека. В ясный день его стены темнели на холме, и круглая линия ограды отчетливо отделялась от неба. В сырые дни, каких было большинство, камень словно принимал в себя цвет облаков и становился продолжением самого холма. И всегда там жил ветер. Внизу он мог сменяться, утихать, поворачиваться, теряться в ложбинах, среди кустов, у воды, но на вершине он держался с таким постоянством, что я все детство считал его одним из древнейших обитателей этого места. Он дул с Атлантики, нес запах водорослей, далекого дождя и свободной воды, проходил над озерами, поднимался по склону и обвивал стены. В зимнее утро он резал лицо, в весенние дни будил траву, летом очищал небо так глубоко, что даль становилась необъятной и страшной, осенью носил над холмом ключья тумана, сырую мглу и разорванные голоса птиц.

Сам круглый форт в моем детском восприятии тоже был живым существом. Я и сегодня помню его наружную стену, сложенную из крупного камня, толстую, суровую, с проходом, который всякий раз казался мне ртом, проглатывающим входящих. Я помню ступени в толще кладки, шершавые от сырости и вековой поступи. Я помню верх стены, где можно было стоять, держась за холодный край, и глядеть, как земля уходит вниз широкими склонами, а дальше лежат поля, редкие рощи, водные полосы и морской простор. Внутри каменного кольца стояли деревянные постройки, крытые тесом, соломой и дерном. Там всегда пахло дымом, смазанной кожей, мокрой шерстью, свечным воском, теплым молоком, золой, торфом и старым деревом. Эти запахи сменяли друг друга по часам и по временам года, и все они составляли для меня один общий запах дома.

Камень придавал мне особое ощущение времени. Дерево старело заметно: на нем оставались зарубки, потемнения, трещины, следы огня, воды, человеческих рук. Но камень казался тем же самым и после дождя, и после мороза, и после жаркого дня, и после многих человеческих перемен. Позднее, когда я начал читать книги и размышлять о вещах более отвлеченных, мне стало ясно, почему детская душа так прочно держится за первое великое вещество, которое она полюбила. Камень дает человеку первое чувство пребывания. В нем чувствуется твердость, тяжесть и спокойствие, которые словно приводят мысли в порядок еще до того, как мысли научатся быть высказанными. Конечно, я еще не знал тогда ни Аристотеля, ни святого Августина, ни греческих отцов, но когда я просто касался ладонью влажной стены, то ощущал под пальцами зерно породы и понимал всем телом, что в мире есть вещи, гораздо более прочные, чем человеческое тело.

Многое в моем детстве было связано с утренним светом. На вершину рассвет приходит рано и торжественно. Тогда, когда тьма долго держится над низинами, туман лежит внизу, словно белая шерсть, над стенами уже появляется тусклый, холодный свет. В такие часы камень еще хранит ночную влагу, по швам кладки течет тонкая вода, а трава у подножия стены темнеет и блестит. Вдалеке, над Лох-Суилли или Лох-Фойл, проступает узкая полоса света, затем словно само небо начинает раздвигаться, делается выше, глубже, прозрачнее, и вся земля просыпается и вспоминает собственные очертания. Мне нравилось смотреть, как мир собирается из влажной аморфной серости в ясную форму. Этот ежедневный переход имел для меня такую значимость, какую позднее приобрели строки Писания и толкования учителей. В каждом рассвете я чувствовал древний закон: свет не вторгается в мир одним рывком, он раскрывает его постепенно, слой за слоем, даль за далью, предмет за предметом.

Зимой Айлех становился особенно суров. Ветер проходил через каждую щель. Двери скрипели. Плащи дольше висели холодными и сырыми. Деревянные балки пахли холодом и дымом. По утрам вода в сосудах часто покрывалась тонкой коркой льда. На камнях выступал иней, и стена, которую я еще вчера трогал голой рукой, утром становилась скользкой и словно металлической на ощупь. Люди тогда двигались быстрее, ближе держались к огню, чаще поправляли на плечах шерсть и мех. Над очагами клубился густой дым, и в нем висели запахи овса, горячего молока, похлебки, свечного сала. Снаружи мир становился проще и однозначнее. Небо висело низко, трава казалась прибитой к земле, птицы летели тяжелее. В такие дни я особенно чувствовал высоту нашего дома. Она обязывала к стойкости. Здесь холод входил прямо в кости, но вместе с ним входило и серьезное знание о мире: жить – значит держаться.

Весной холм быстро менялся. Меж камней прорастала свежая зелень, на склонах светлели молодые травы, хотя в низинах вода стояла дольше. С холма было видно, как по полям разливается новая мягкость цвета, как на далеких участках земли возникают первые светлые пятна. Воздух становился влажнее и тяжелее от растущих соков, в нем появлялся запах сырой земли, корней, листьев, мягкой коры. Над заливами чаще открывалось синее небо, чайки кричали резче, а вездесущий ветер приносил свежесть, в которой уже чувствовалось теплое движение грядущего лета. В такую пору круглая ограда Айлеха начинала мне представляться кораблем на зеленом море. Холм под нами поднимался как огромная волна, и сам дом, старый и твердый, шел над этой волной сквозь смены дождей и солнца.

Лето приносило мне другое ощущение от дома: в ясные дни горизонт отодвигался так далеко, и словно вся земля лежала передо мной в такой отчетливости, что я порой уставал от простора. Ясная видимость давала широкое поле взгляду, и можно было долго различать дорогу, блеск воды, стада, белую стену далекой часовни, дым над селениями, движение лодок у берегов. Полдень словно обнажал широту мира, и вместе с этим приходило какое-то детское смущение перед величиной. Я стоял на стене, чувствуя под босыми ступнями нагретый камень, и понимал, что мой дом поднят в такое место, где человек должен привыкнуть к своему высокому положению. Внизу лежали земли, о которых взрослые говорили как о подвластных, спор-

ных, верных, ненадежных, соседних. Для меня же они все были прежде всего открытыми. В этой открытости чувствовалась и радость, и ответственность. Человек на высоте много видит и потому много должен понимать.

Я всегда считал, что именно осень была родным временем для Айлеха. Тогда обитающий в нем ветер становился особенно сильным и глубоким, дожди шли еще чаще и дольше, а облака ползли низко, словно опираясь на склоны. Порой весь мир исчезал в сырой белизне, и тогда казалось, будто дом висит посреди сплошной влаги и ветра. К вечеру на стенах накапливалась вода, и их камни темнели, как старая железная чаша. Дерево стен тоже впитывало сырость и отзывалось на нее особым запахом. По двору тянулись лужи, и потому у входа всегда лежала солома, чтобы смягчить грязь от множества ног. В такие месяцы особенно ясно обнаруживалось, что жизнь в крепости поддерживается настойчивостью многих простых движений: вовремя затворить дверь, унести дрова под крышу, просушить плащ, выжать шерстяную ткань, вынести пепел, растопить огонь до прихода сумерек, поднять сосуды от земли, поправить кровлю после порыва ветра. С детства я видел, что устойчивость дома складывается из малых дел, повторяемых с терпением и тщательностью. Это наблюдение позднее многому меня научило и в умственном труде. Великие рассуждения тоже обычно держатся на верности мелким движениям мысли, как крепость на вершине стоит на постоянном человеческом усердии.

Еще одним постоянным присутствием на вершине холма было море, которое чувствовалось, даже когда его не было видно. Оно входило в жизнь Айлеха запахами, влажностью, светом, голосами птиц и несущимися облаками. Иногда, когда западный горизонт был чистым, вода в отдалении блестела как полоса холодного металла. Иногда ее скрывал дождь, и лишь по особой тяжести воздуха можно было догадаться о близости большого пространства. Для меня море долго было чем-то большим, чем водная даль. Оно словно имело право приходить в дом, не переступая его порога. Вкус соли чувствовался на губах после прогулки по стене. Далекие штормы приносили заранее слышимый гул, и сам свет над водою определял весь цвет дня. Благодаря морю я рано почувствовал, что мир простирается куда дальше видимого холма и дальше владений любого рода. В мире есть широта, над которой человек может только стоять, дышать и внимать.

Птицы были первыми существами, у которых я учился воспринимать пространство. На высоте Айлеха они жили вроде бы рядом с людьми, но вместе с тем – в иной свободе. Вороны ходили по стенам с царственной осторожностью, склонив голову, словно разглядывали древнюю собственность. Их черные перья на сером камне казались продолжением самого места. Чайки поднимались с берегов и долго кружили над холмом, ловя потоки воздуха. В ясный день можно было видеть, как они держатся в воздухе без видимых усилий, лишь малыми движениями крыльев поправляя свое положение в небе. Иногда над склоном появлялся ястреб, и тогда весь воздух вокруг него концентрировался в напряженную точность. Я глядел на эти проявления жизни с восторгом. Птицы показывали мне, что высота имеет собственные законы, она требует зоркости, собранности и умения удерживать себя в движении стихии.

Кусты вереска и дрока на склонах, редкие деревья внизу, чернеющие торфяные пятна, каменистые тропы, россыпь овечьих костей у дальнего края, влажная шерсть сторожевых собак, конские следы в рыхлой земле, полосы дождя над водой, дым, который на ветру ложился почти горизонтально, — все это составило мою первую школу зрения. Я узнавал мир по поверхности вещей. Камни имели много состояний: сухие, мокрые, нагретые, покрытые мхом, ледяные, скользкие после дождя, шероховатые на солнце. Небо тоже имело много своих форм: свинцовое, прозрачное, рваное, ясное до боли, покрытое стремительными облаками. Вода меняла обличья от часа к часу. Мои ранние воспоминания состоят из таких перемен, и уже в них содержалось знание, которое позже просто облеклось в слова: создание мира продолжается в явлении его форм. Вещество каждый час раскрывается новым способом, и это раскрытие требует внимания.

Внутри круглой ограды был другой мир, в котором царил иной порядок ощущений. Там шаги звучали глуше, а людские голоса становились слышнее, там фоном были кашель, смех, звон железа, блеяние скота, стук дерева, треск веток в очаге. Вечером на стенах дрожал свет факелов. Смола пахла густо и терпко. Служанки вносили воду и корзины, мужчины снимали мокрые плащи, дети прижимались к огню. В огне трещали сырые поленья, и искры от них коротко взлетали вверх, озаряя балки под крышей. Иногда, проснувшись ночью, я слышал, как ветер ходит вокруг стены, будто обмеряет ее, и как в ответ тихо скрипит дерево. Тогда весь форт представлялся мне большим живым телом, которое спит настороженно, вполуха, вполглаза, среди темноты, сырости и звезд.

Особенно ясно я помню звезды над Айлехом. В ясные ночи небо было таким глубоким и таким холодным, что я долго воспринимал его как угрозу. Оно висело над стенами, над холмом, над двумя заливами, над спящими людьми и словно дышало своим собственным дыханием. Иногда я выходил на стену, завернувшись в шерстяной плащ, и смотрел вверх до тех пор, пока в груди не появлялось странное чувство, похожее на радость и страх одновременно. Позднее я понял, что именно так душа впервые узнает собственную вместимость. Ей открывается нечто неизмеримо большее, и вместе с тем она ощущает в себе способность это воспринимать, описывать и понимать.

Когда над холмом проходила буря, дом словно напрягался ей в ответ. Небо темнело еще с полудня, озера покрывались крупной рябью. Сперва по склону сыпались короткие порывы, и тогда люди начинали двигаться быстрее, собирали посуду, укрепляли то, что могло сдвинуться, загоняли скот в укрытие, притягивали двери, проверяли кровлю. Потом приходил настоящий ветер. Он бил в стены, свистел в проходах, срывал с крыши воду и бросал ее на камень. Дожди обычно шли косо, резкими струями. В такие часы круглая форма замка словно собирала силу бури вокруг себя. Я любил наблюдать за этим из защищенного места, чувствуя глубокую уверенность в камне. Буря учила меня, что крепость — это форма, согласованная со стихией: круг принимает удар совсем не так, как угол. Толща стены удерживает удары иначе, чем тонкая доска. А потому и дом, выросший из понимания ветра, живет дольше.

В долгие дождливые дни мир сужался до ближних предметов, и в этой тесноте возникала своя полнота. Капли медленно бежали по проему, шерсть плаща сохла у огня, на деревянном столе тускло поблескивала масляная лампа, при свете которой руки служанки разминали тесто. Вода в чане отзывалась на каждый шаг мелкой дрожью. На скамье лежал нож с костяной рукоятью, рядом темнела деревянная чаша, в углу висела узда, пахнувшая конем и дождем. Я могу перечислять эти воспоминания долго, потому что именно через такие подробности жизнь впервые по-настоящему проникает в память. Великие виды холма, заливов и неба придавали мне широту взгляда, но дом давал мне плотность. Так человек растет между простором и предметами, когда простор раскрывает душу, а предметы учат ее сосредоточению.

Порой я представлял себе, что сам круглый форт подобен гнезду огромной птицы. Эта мысль приходила особенно весной, когда ветер был упруг, воздух ясен, а над стенами непрерывно носились чайки. Высота, круг, край обрыва, открытое небо, дальние воды — все это соединялось в один образ.

Но из любого гнезда однажды вылетают, и это понимание пришло ко мне гораздо позже. В детстве же существовало только ощущение: здесь меня подняли над землей, здесь я учился сначала смотреть, потом удивляться, потом узнавать в окружающем скрытые связи. Камень, ветер и море воспитывали ум раньше, чем это сделали книги.

Я часто думаю, что именно Айлах дал мне первый опыт мира как целого. В иных местах человек прежде всего чувствует хозяйство дома, тепло очага, близость семьи, запах хлеба, голоса соседей. А на вершине холма к этому прибавляется необъятность. Здесь каждая бытовая вещь словно стоит перед лицом горизонта: чаша с молоком стоит в доме, который видит два залива и путь облаков, очаг горит посреди пространства, открытого морю и ветру. А потому

и ребенок, еще не умеющий читать, уже живет в пределах огромных масштабов. Благодаря этому раннему опыту я впоследствии легко понимал, что частное включается в общее, а видимое пребывает внутри более высоких уровней. Айлех был для меня первым образом устроенного мира: круг стены, внутренний двор, дом, огонь, человек, холм, даль, небо. Все имело свое место и свои связи.

В сырые сумерки и в ясные рассветы, в зимний ветер и в летнюю прозрачность, в бурях и долгих ровных дождях, Айлех входил в меня как первая книга, написанная самим Богом. Мир моего детства был велик, тверд и исполнен смысла. Его следовало сперва принять всеми чувствами, чтобы позднее научиться принимать умом.

Теперь, оглядываясь на начало своей жизни, я понимаю, что Грианан Айлех дал мне первые уроки мысли. Высота научила меня смотреть далеко, камень научил терпению и постоянству, ветер научил слышать невидимое присутствие силы, море научило уважению к широте. Перемена света научила ожиданию скрытого смысла, и старый круглый форт на вершине холма стал моим первым наставником, урок которого длился гораздо дольше детства. Всякий раз, когда я позднее искал порядок среди трудных слов, спорных толкований и путаных человеческих мнений, во мне неизменно возникало воспоминание о сером камне, о воздухе над двумя водами и о доме, который с самого начала учил душу держаться выше всего случайного.

Глава 2. Волчья школа

Я очень рано узнал, что дом может принять человека, но в то же самое время не впускать в свой центр, удерживая на задворках. В Айлехе это чувство проникало в душу в самые первые годы моей жизни. Круглая стена словно обнимала всех, кто жил внутри нее, огонь горел для всех, стол собирал родичей, дружинников, слуг, клириков, певцов и гостей, но все же у каждого в этом круге было его собственное место, его мера близости к господину, свой вес в глазах старших, своя доля будущего. И ребенок чувствует это положение намного раньше, чем понимает их на словах. Он различает их по тому, кому уступают дорогу, кого берут за руку, кому дают слово, кого окликают по имени, а кого просто замечают краем взгляда.

Я уже упоминал, что моя мать умерла при родах. Об этом мне не раз напоминали позднее, когда я уже мог понять значение жестокого счета, при котором когда один приходит в дом, другой из него уходит. В анналах такие события обычно упоминаются наряду с набегами, смертями аббатов, походами королей и пожарами. И там, где для писца достаточно нескольких слов, для дома печали часто хватает на многие годы. После ее кончины в Айлехе долго держалась тень, и эта тень, конечно, легла прежде всего на меня. Я рос, чувствуя вокруг себя память о тяжелой утрате. И хотя люди видели во мне младшего сына короля, они также видели последнего сына южанки, чье тело осталось в северном камне, чье имя пришло из богатого центра острова, из земель, где сама власть имела другой облик, более собранный, более древний и, как я потом понял, более сродный мысли, чем одной только силе рук.

Эугинис, дочь Доннхада Миди - так ее называли, когда говорили с уважением. Имя отца при ней звучало почти всегда. Доннхад был королем Темры, одним из тех мужей, чья память продолжает жить в родословных и церковных записях многие века после их смерти. Его род принадлежал Кланн Холмайн, южной ветви Уи Нейллов. В моем детстве эти имена еще не были для меня порядком выстроенных понятий, но уже тогда они приходили как отзвук особого достоинства. Южане из Миде представлялись мне людьми иной породы, хотя кровь у нас была общей в самом широком родовом исчислении. Север жил берегом моря, походами, стражей, быстрым ответом на обиду и готовностью держать рубеж. Миде же жил серединой, где земля была мягче, богаче, щедрее на хлеб и пастбище. Там дороги вели к местам древних собраний, там стояли великие монастыри, и власть помнила о священном не только в часы покаяния, но и в самой своей повседневной жизни. И хотя я понял это намного позже, уже в раннем детстве до меня доходило, что мать пришла из мест, о которых говорили тише и полнее, чем о прочих землях.

Теперь, оглядываясь на те годы из дали прожитой жизни, я думаю, что один только расчет не объясняет той тяжести, с какой имя моей матери произносили в Айлехе и после ее смерти. Ее брак с Аэдом, конечно, был династическим. Так соединяли дома, так связывали север и середину острова, так укрепляли право и ослабляли будущую вражду. Только в больших домах люди слишком хорошо знают цену одного лишь расчета, чтобы путать его с движением сердца. О матери вспоминали не так, как вспоминают «династически» полезную жену, просто исполнившую политическую волю рода. В этих воспоминаниях всегда оставался след особой близости, и потому мне с годами стало казаться, что отец полюбил ее глубже, чем сам намеревался, когда принимал этот союз.

Она была моложе, пришла из иного мира, принесла с собой южный характер речи, спокойствие, ученость и ту особую собранность, которая так сильно действует на людей сурового склада. Мужчина, привыкший к северному камню, к походам, к коротким приказам и к женщинам, глубоко вросшим в порядок его дома, мог увидеть в такой жене не только союз, но и обновление собственной жизни. Думаю, именно это и произошло. Взгляд, задерживающийся дольше надлежащего, доверие, оказываемое слишком быстро, память, не желающая блекнуть

после смерти, — все это в благородных родах замечают раньше слов. Но и ревность там рождается так же легко, как результат расчета и боязни перемен. И потому старшая хозяйка дома, вероятно, почувствовала опасность сразу же после появления новой принцессы.

Так я по крохам узнавал о матери, и каждая такая кроха была для меня драгоценностью. В доме, где главную речь всегда держали мужчины, память о женщине часто сохраняется обрывками: как держала голову, как шла через зал, как поправляла рукав, как говорила со слугами, какие ткани любила, как сидела у огня. Память об Эугинис хранили иначе, в ней постоянно присутствовал простор юга, словно вместе с именем моей матери в Айлах входили холмы Миде, Уиснех, Темра, мягкая срединная земля, золотистый свет на полях и то чувство, что остров связан в одно целое глубже, чем это позволяют увидеть междоусобицы. Старые женщины рассказывали, что она умела смотреть так, что люди понижали голос сами собой. Один священник, уже под старость, сказал мне, что речь ее была размеренной и чистой, как у тех, кто с детства слышит чтение в хорошей школе. Кто-то вспоминал, что в ее свите приехали книги, дорожные ларцы, покрытые кожей, и вместе с ними несколько клириков и женщин, умевших читать надлежащим образом. Я не знаю, сколько истины было в каждом отдельном воспоминании. Я знаю только, что ее образ всегда приходил ко мне вместе с картиной собранного мира, в котором слово, молитва, род и земля соединяются в одну общую структуру.

Уиснех и Темра существовали в представлениях моего детства как места практически сказочные, невидимые, но все же вполне ощутимые. Я часто слышал о них. Ланд, моя сестра, говорила о них так, словно сама привезла в Айлах часть того мира. Она была старше меня, и ей досталась та великая ценность, которой был лишен я: несколько лет рядом с матерью, несколько точных воспоминаний, несколько фраз и образов, перенятых в семье. Ланд любила тихо сидеть у стены, перебирая шерстяную нить или глядя складку плаща, и рассказывать о южных землях так, что мне начинало казаться, словно и я сам когда-то стоял там, на мягкой срединной траве, сам видел широкий холм, где сходятся дороги, сам чувствовал покой места, к которому обращен весь остров. Она говорила об Уиснехе как о центре, где земля будто бы собирает собственное дыхание. Она говорила о Темре как о древнем месте обычаев, где власть должна помнить о порядке большем, чем собственная воля. В ее детских еще словах оставалась материнская интонация, и потому для меня вся южная Ирландия слилась с одним глубоким образом: с отсутствующей матерью, чье присутствие продолжало жить в моей сестре.

Ланд была и моей первой заступницей. В нашем доме она понимала мое положение гораздо яснее, чем я сам. Она знала, что дети разных матерей живут под одной кровлей не с одинаковой легкостью. Она знала, какой вес имеет первая жена, какая сила ложится на старших сыновей, как глубоко врастает в стены устоявшаяся иерархия. Когда я был мал, мне казалось, что в Айлах все взрослые обладают природным правом говорить громко и решать без колебаний. Ланд рано показала мне, что за этими, вроде бы обычными, движениями на самом деле скрывается борьба памяти, крови и достоинства. Ей самой суждено было стать залогом будущего мира, чьим-то браком, чьим-то соглашением, чьей-то попыткой соединить враждующие линии рода. Быть может, потому она так держалась за немногие островки свободы внутри дома, за часы под стеной, за полутемные углы после пира, за рассказы филидов, за простую возможность сказать младшему брату несколько слов, в которых дом казался шире собственной суровости.

Однако главной хозяйкой Айлаха оставалась Медб. Я не могу говорить о ней с детской простотой, потому что даже будучи маленьким ребенком ощущал в ней силу сложную и опасную. В таком доме женщина высокого рода правит и взглядом, и жестом, и расположением слуг, и порядком при столе, и самой твердостью повседневной жизни. Ее власть проявляется в том, как подают чашу, кому расстилают ткань, кого сажают ближе к огню, чье имя произносят первым. Медб давно укоренилась в доме. Ее сыновья росли здесь как естественные продолжатели рода, наследники нашего отца. Я же появился поздно, и мое появление было связано с

другой женщиной, с другим родом, с другим политическим смыслом. Медб обычно не проявляла ко мне гнева или ненависти, но в ее манере было нечто более прочное: холодная решимость не дать мне забыть моего места. Я думаю, в глубине души она видела во мне остаток чужой ветви, последний след брака, который нарушил внутреннее равновесие ее мира. Взрослые редко говорят о таком прямо, обычно они дают это почувствовать через саму структуру обращения.

Я рос среди четырех братьев, рожденных другой матерью, и каждый из них открывал мне одну из сторон того мужского мира, в который я был введен по рождению. Самый старший, Ниалл, уже в ранние годы казался мне человеком, вокруг которого само пространство делается торжественнее, прямее и строже. Он двигался с той ранней уверенностью, которая создается внутренним согласием с собственным предназначением. Когда он выходил во двор после учения, после езды, после охоты, воздух как будто собирался вокруг него. Люди поворачивали головы, наставники смягчались, слуги становились внимательнее и даже собаки вскакивали живее. В нем жила будущая королевская сила, и уже мальчиком он держал себя так, словно весь шум дома и вся его суровая воспитательная теснота служат ему всего лишь материалом для возрастания. Я смотрел на него с невольным восхищением, и в его присутствии ощущалась справедливость силы, которая способна не только разить, но и держать саму себя в узде. Иногда мне казалось, что один он по-настоящему видит во мне младшего брата, а не только неудобный след южной крови.

Второй брат, Маэл Дуйн, был совсем иного склада. Он глубже принадлежал самому северу, самому камню Айлеха, самому закону стен и рубежей. В нем рано проявилась привязанность к месту, к порядку дозора, к людям, которые остаются, когда другие уходят в дальний поход. Он мог подолгу молчать, проверяя ремень, оглядывая коня, рассматривая скол на древке копья. В его молчании было меньше снисхождения, чем у Ниалла, и больше плотной земной серьезности. Он словно родился для того, чтобы хранить, удерживать, переживать, продолжать. Когда я видел его у стены на ветру, с плащом, прижатым к плечу, мне представлялось, что это сам Айлех выбрал для себя такой человеческий облик. Ко мне он относился сдержанно, с долей неясного удивления: зачем ребенку королевского дома столько смотреть и слушать там, где следует уже учиться владеть.

Еще двое, Фогартах и Кинаэд, словно заполняли собою комнаты замка. Они были почти одноклассники со мной, и вокруг них всегда было больше звона, смеха, резких рассказов, соперничества, молодого шума. Они приносили в дом охотничью горячность, хвастливое воспоминание о первом удачном ударе, желание пересказать каждое телесное превосходство, каждую удачу на коне, каждый бег собаки по следу. Для младшего мальчика такой мир бывает одновременно притягательным и тягостным. Он сверкает жизнью, но при этом быстро дает понять, по каким критериям судит о человеке. Взгляды братьев задерживались на мне с той насмешливой растяжкой, которую ребенок распознает безошибочно. Я был для них братом, и в то же время существом чуждого склада. Им казалось странным, что меня, слово филида, может остановить камень на берегу, рисунок прожилок в древесине, имя, услышанное в древней генеалогии. Они охотно подлавливали каждое мое замедление и кажущуюся неловкость. Так я впервые узнал, что домашний смех порой ранит глубже открытой обиды.

В те годы жизнь мальчиков высокого рода направляли к будущему служению очень рано. Учение, верховая езда, метание копья, охота, память о роде, умения переносить лишения, терпеть холод и голод, повиновение старшим — все это входило в самую плоть с самых ранних лет. Братьев готовили к воспитанию вне дома, к той обычной для Ирландии передаче детей в другие семьи, где их закаляли, учили, связывали узами приемного родства и встраивали в широкий порядок власти. Их судьба была ясна: каждый должен был стать пригоден к земле, к оружию, к совету, к походу, к удержанию людей при себе. Я же оставался в доме дольше и

чувствовал, как это отличие медленно становится и моим клеймом. Стая всегда узнает того, кто в ней бежит иначе.

Я назвал в памяти те годы волчьей школой. Это определение пришло ко мне уже во взрослом возрасте, когда я научился точнее смотреть на природу человеческого дома. Волк живет стаей, узнает порядок по силе, движется по следу, чует слабость, бережет свое и мгновенно различает чужое. В Айлехе было много этого волчьего величия. Наш род держался на храбрости, быстроте ответа, долгой памяти о кровных обидах и на умении жить на суровом краю острова, где сама земля приучает бодрствовать. В этом была своя правда силы, но в этом была и теснота. Ребенок, в чьей душе уже тянется какая-то другая нить, особенно остро чувствует давление такого порядка. Ему приходится осваивать общий закон и вместе с тем хранить в себе что-то, чему этот закон не дает возможности свободного проявления.

Ланд, моя единственная родная сестра, впервые рассказала мне о смерти нашей матери в один из сырых вечеров, когда ветер терся о стены и дым от очага подолгу лежал под балками, прежде чем выйти наружу. Я сидел на низкой скамье, завернув ноги в шерстяную ткань, и слушал, как за перегородкой кто-то двигает сосуды. Ланд долго молчала. Потом сказала, что мать умерла, когда я появился на свет, и добавила это без жалобы, как глубоко спрятанную истину, которую слишком долго берегли от детского слуха. После этих слов она стала описывать мне Эугинис. Я ждал сначала лица, одежды, голоса. Но Ланд начала с дороги. Она сказала, что мать приехала с юга, из земли более мягкой и светлой, где холмы шире, поля богаче, монастыри значительнее, а люди привыкают думать об Ирландии как о едином острове, собранном вокруг священной середины. Эти слова засели во мне сильнее любого описания лица. Я понял вдруг, что мать принесла с собою пространство, целый строй мира, и что ее смерть прервала в Айлехе какую-то важную связующую нить.

Позднее Ланд часто рассказывала мне о небольших вещах: о вышитом крае плаща, о ладонях матери, о том, как та держала книгу, как склоняла голову к священнику, как умела молчать в большом зале, не уступая этим молчанием никому. В таких рассказах рождался мой самый ранний образ благородства. Он связывался прежде всего с внутренней собранностью, с вниманием к слову, с умением хранить достоинство без окрика. Думаю, именно здесь начинается тот долгий путь, который позднее привел меня к мысли о природе как о всеобщем порядке, внутри которого каждая вещь занимает свое уникальное место в сопряженности со всем. Образ матери же остался для меня не только утратой. Через нее в мою жизнь вошло смутное чувство целого. Из южной крови, из рассказов Ланд, из самой неисполненной близости с женщиной, которую я не успел узнать, медленно выростала потребность видеть мир связным.

Однако в королевском доме этому внутреннему движению соответствовало мало что. Повседневность требовала быстрых ответов и ясных ролей. По утрам мальчиков выводили во двор. Холод обжигал лицо, собачий лай отдавался от стены. Там наставник показывал, как держать оружие, как ставить ногу, как переносить вес тела, как смотреть вперед, не отвлекаясь. Я изо всех сил старался повторять движения, сколько мог. Но, к сожалению и стыду, мое тело училось гораздо хуже и медленнее, чем того требовал дом. Я схватывал смысл сказанного, запоминал порядок жестов, ощущал красоту точности, и все же руки мои дольше искали силу, ноги дольше привыкали к грубой земле, плечи быстрее уставали. Я видел это по взглядам окружающих. И если взрослые еще сохраняли терпение, то братья легко разменивали нетерпение на шутку. С каждым таким днем крепло чувство отделенности, и оно все больше делало меня наблюдателем.

Смотреть было моей естественной защитой. Пока другие утверждали себя действиями, я жадно собирал мир глазами и слухом. Я замечал, кто первым входит в зал, кто держится ближе к Медб, как изменяется лицо отца, когда при нем произносят имя южного рода, как замолкают слуги, когда речь заходит о детях разных матерей. Я замечал, как Ланд бережно прячет одну тканую ленту, оставшуюся от матери, и как потом часами сидит с нею на коленях,

ничего не говоря. Я видел, как Ниалл в один из дней встал между мною и слишком грубой насмешкой Фогартаха, сказал несколько коротких слов и этим исчерпал дело. Я наблюдал, как Медб умеет улыбаться гостям, раздавая внимательность, и как после их ухода дом снова стягивается в прежнюю суровую форму. Детство в правящем доме быстро учит тому, что жизнь состоит из явного и скрытого, причем если видимое дает порядок, то управляет им скрытое.

Однажды после охоты Ниалл вернулся с первым большим оленем. Весь двор наполнился лаем и воем собак, смехом, шагами, запахом крови и мокрой шерсти. Мужчины окружили добычу. Наставники одобрительно кивали. Слуги тянули веревки. Кому-то уже велели готовить мясо для пира. Я стоял в стороне и чувствовал, как вся эта картина наполнена обычаями дома, его истинной радостью, его суровой мужской правотой. Но я не чувствовал радости. Я чувствовал боль убитого животного, видел грусть леса, потерявшего свое дитя. В то же утро, еще до возвращения охотников, я нашел у нижнего склона камень с темным узором, похожим на свернутые в узел письма. Я долго держал его в руке, обводил пальцем линии, в которых будто бы было заключено какое-то древнее и важное известие, и принес с собой, завернув в край плаща. Вечером, пока в зале славил удачную охоту, я сидел в полутени и трогал этот камень у себя в коленях. Никто бы не понял, почему его вес для меня значил больше, чем вес убитого оленя. В тот час я особенно ясно почувствовал направление собственной души. Она тянулась к следу, который оставляет в мире смысл.

Особенно тяжелым испытанием для меня стали пиры. На них раскрывалась вся иерархия дома. Старшие получали дары, оружие, гривны, похвалу, добрые слова перед лицом дружины. Младшие же учились смотреть, ждать, принимать свое место. Отец раздавал с обычной для него точностью то, что следовало каждому. Шерсть плащей блестела в свете факелов. Масло в лампах пахло густо. Дым собирался под крышей. По залу ходили чаши. Филиды готовились произнести подобающее. Я сидел ниже, ближе к ногам старших, и чувствовал на себе всю весомость собственной малости. В таком положении ребенок или ожесточается, или начинает слушать глубже. Со мною, к счастью, произошло второе. Место у ног научило меня внимать тому, что идет поверх меня, над моей головой, мимо меня. Возможно, именно поэтому позднее я так хорошо слышал в книгах движение мысли, направленной выше частного спора и выше человеческого самолюбия.

Иногда Ланд, заметив мою усталость после таких дней, уводила меня к внутренней стороне стены, где ветер уже не был так резок, а звуки пира доходили приглушенно. Мы садились на сложенный плащ. Она рассказывала о садах юга, которых я никогда не видел, о светлых полосах нив, о длинных дорогах Миде, о людях, умеющих вести беседу мягко и развернуто, о клириках, чье чтение было подобно течению воды, о старых местах, где власть касается священного без особых усилий, поскольку уже долго живет возле него. В эти минуты словно моя мать оживала как образ целой страны. Я понимал, что именно она принесла в суровый север не только союз двух родов и приданое, но и особый способ держать в уме мир. И через Ланд этот способ перешел ко мне как тайное наследство.

Взрослея, я все яснее чувствовал, что мое происхождение хранится во мне как двойной зов. Отцовская кровь давала твердость, умение переносить холод, потребность в порядке и серьезность перед властью. Но материнская линия приносила внутреннюю широту, тягу к середине, к целому, к связности вещей и имен. В Айлехе такой состав души принимали с трудом. Дом предпочитал ясные формы. Я же с ранних лет нес в себе пересечение двух форм жизни. Внешне это выражалось в том, что я был тише, дольше думал, реже бросался вперед, чаще запоминал, чем состязался. Для детей и воинов этого довольно, чтобы клеймо чужака стало почти естественным. Но для самой души этого оказалось достаточно, чтобы однажды начать искать место, где ее раздвоенное наследство сложится в цельность.

Ланд понимала это первой. Однажды, когда мы сидели в узком проходе между стеной и деревянной пристройкой, она коснулась моей головы и сказала, что я похож на мать больше,

чем думаю. Она имела в виду не внешность, она говорила о способе молчать, смотреть и ждать слова, которое соединит рассеянное. Тогда я еще не знал, какую силу имеют такие тихие приговоры. Они часто правят жизнью сильнее громких решений взрослых мужчин. С того дня я стал воспринимать собственную инаковость не как один только постыдный изъян. В ней постепенно открывалась судьба, глас Провидения. Дом делал меня лишним сыном. Память о матери начинала делать меня сыном двух пространств.

Так проходили мои ранние годы в Айлехе: среди братьев, похожих на силы одной стихии; под взглядом Медб, хранившей внутреннюю чистоту северной линии; рядом с Ланд, удерживавшей для меня утраченный образ Эугинис; под тяжелой рукой отцовского дома, где каждый мальчик проходил свои уроки суровости. Я учился жить среди тех, кто был со мной одной крови, но вместе с тем оставался для меня школой опасной чуждости. Я узнавал цену молчания, цену собственного места, цену памяти, которую приходится беречь от чужих глаз и ушей. Волчья школа рано дала мне понять, что род воспитывает человека посредством страха, иерархии и холода, но не посредством любви и принятия. Она же открыла мне, что душа всегда ищет еще одного родства, более глубокого. Это родство не отменяет крови. Оно организует человека в тот порядок, где утрата матери, суровость братьев и даль южной земли однажды складываются в Предназначение.

Глава 3. Дыхание фей

Всякий дом хранит у себя такие двери, которых нет в плотницком учете. Их не вырезают из дуба, не навешивают на них железо, не охраняют копьем. Они открываются в свой час, когда сам воздух на короткое время меняет вес, когда туман клубится по земле так низко, что холм кажется поднятым над облаками, когда ветер приносит голос, не похожий на человеческий, и все же понятный внутреннему слуху. В Айлехе я узнал это раньше, чем научился толком различать людские намерения. Каменный круг на вершине был домом короля и домом рода. Однако он был также местом, где сама природа говорила сквозь камень, а стародавняя память проникала в дыхание живых.

Среди тех, кто приехал когда-то с моей матерью из Миде, был один старик, о котором в замке говорили мало и всегда с такой неохотой, какая выдает страх и давнее смущение. Официально его называли хранителем покоев принцессы и человеком ее доверия. Этого было достаточно для слуг, для оруженосцев и для тех, кто привык довольствоваться внешним именем всякой вещи. Но с самого детства я чувствовал, что это имя лишь прикрывает иное достоинство, более древнее и потому труднее выразимое. Даже суровые люди моего отца, умевшие глядеть прямо в лицо вождю, пленнику, чужому аббату и человеку, пришедшему с вестью о крови, при встрече с Финтаном отводили глаза чуть раньше, чем того требовала вежливость. Они уступали ему проход без приказа. Они не позволяли себе грубого слова в его присутствии. В его сторону почти никогда не летел легкий насмешливый говор, столь обычный для больших мужских домов. Всякий чувствовал в нем силу, которую безопаснее не задевать.

Отец мой не любил Финтана. Он терпел его, признавал за ним какое-то старое право, дозволял ему оставаться в Айлехе после смерти матери и никогда не оспаривал его места открыто. И все же в его взгляде, когда они случайно сходились, жила постоянная настороженность. Аэд был человеком церковного покрова, человеком помазания, человеком закона, который должен стоять над родом и над землей как охрана правильного порядка. Он чтит Святого Патрика и его Закон, держался возле армахских клириков, заботился о том, чтобы в его власти христианское пение звучало не тише боевого рога. В Финтане же он видел силу совсем иного рода — слишком древнюю, слишком связанную с холмами, туманами, камнем и теми полузабытыми именами, которые существуют куда дольше крещеных генеалогий. Думаю, отец подозревал в нем язычника, хотя никогда не произносил этого слова вслух. Ему казалось, вероятно, что старик знает о земле куда больше, чем прилично знать человеку, желающему держаться только Церкви и королевского закона. При этом между ними никогда не было открытой вражды. Между ними стояло намного более глубокое различие: там, где отец искал благословения для власти, Финтан хранил память о мире, который старше всякой власти и древнее самих людей.

Как ни странно, но несмотря на немилость короля, после смерти матери он не уехал. Это удивляло меня еще в детстве. Свита южанки давно разошлась, частью вернулась на юг, частью растворилась в чужом доме, но Финтан остался в своей хижине у западной стены, где камни постоянно были мокры от тумана, где ветер с Лох-Суилли входил особенно крепко, и где даже в ясный день держалась прохлада, как в пещерной нише. Его малая келья, тесная, темная, пахнувшая соленой сыростью, старой шерстью, высушенными травами и воском была неприметной, но в то же время казалось не менее значимой, чем королевские покои. Я помню узкое окно, сквозь которое виден был кусок воды и быстрое небо, низкий стол, на котором лежали раковины, гладкие камни, связка веток боярышника, несколько костяных предметов непонятного мне назначения, и светильник, горевший вечерами дольше, чем приличествовало бы простому старику. Дверь его хижины редко бывала закрыта плотно. Ветер касался ее порога, и мне казалось, что туда постоянно входит дыхание чего-то внешнего, того, что гораздо старше дома и намного свободнее его.

Сам Финтан был сух, высок и удивительно прям для своих лет. Его волосы, когда я запомнил их отчетливо, были цвета зимней соли, редкие и длинные. Лицо его носило след времени, морского ветра и долгого молчания. Кожа была тонка и прозрачна, как старая пергаменная пленка. Руки же оставались крепкими, длиннопальными, с чистыми ногтями, внимательные руки человека, привыкшего держать предметы так, словно знает ее вес не только в ладони, но и во всем мире. Его плащ всегда казался мне старше самого хозяина. Он был соткан из грубой, плотной шерсти темного оттенка, который менялся от погоды, то приближаясь к бурому, то к пепельному, то к почти зеленому, как мокрый лишайник на северной стороне камня. Голос у него был тихий, но тем сильнее он запечатлевался в памяти. Он никогда не давил, не повелевал, не убеждал. Он ложился на слух, как вода ложится на камень, медленно, верно, оставляя свой неизгладимый след.

Иногда он позволял себе шутки, которых никто другой в Айлехе не осмелился бы даже помыслить. Делал он это всегда вполголоса, без улыбки, так, что сперва я принимал его слова за простое замечание и только потом понимал скрытый укол. Однажды, когда Медб особенно резко обошлась со служанкой моей матери, Финтан проводил ее взглядом и тихо сказал мне:

— С именем Медб всегда нужно быть осторожным, мальчик. Его обычно получают женщины, рожденные для власти. Иные из них правят в залах людей, иные — в тех дворах, куда лучше не входить после заката.

Я посмотрел на него, не зная, смеется ли он.

— В старых рассказах, — продолжал он, — это имя носит королева, которую холмы помнят лучше, чем церкви. Потому твоя мачеха так хорошо понимает, как держать дом страхом, взглядом и ожиданием. Для полного сходства ей недостает только сидеть внутри холма и созывать к себе тех, кто любит дурную верность.

Он сказал это сухо, почти ласково, и только в глазах его мелькнуло на мгновение что-то вроде древнего озорства. Я, еще ребенок, невольно улыбнулся, хотя и почувствовал сразу, что такую шутку нельзя повторить никому. С той поры имя Медб стало звучать для меня двойственно. Оно принадлежало женщине в доме моего отца, и в то же время за ним вставала иная тень — старая, властная, связанная с землей, с преданием и с теми подземными дворами, о которых Финтан говорил так, словно сам не однажды бывал у их порога.

В большом доме всякий мальчик ищет мужчину, возле которого его душа не съеживается. Кого-то привлекает воин, кого-то певец, кого-то клирик, умеющий читать громко и чисто. Меня же с ранних лет тянуло именно к старику Финтану. Он не спрашивал, почему я сижу так тихо. Он не торопил меня в те часы, когда я медленно рассматривал какую-нибудь простую вещь. Он не смеялся над моей привычкой подолгу глядеть на воду, на ветви боярышника, на серую тень облаков, скользящую по холму. Он словно заранее знал, что душа ребенка раскрывается его вниманием. Порой мы сидели с ним на краю западного склона, там, где трава была жестче, а ветер свободнее. Под нами простирался Лох-Суилли, и весь день вода в нем меняла свой цвет: утром она была свинцовой, в полдень приобретала стальной блеск, а к вечеру становилась синеватой, иногда почти зеленой, иногда тяжелой и черной, если с моря подходил дождь. Финтан мог смотреть на эти перемены долго, без усталости, и я рядом с ним учился тому же.

Он редко начинал свою речь с утверждения. Вместо наставления он обычно сперва задавал вопрос, а вместо вывода — показывал предмет. Как объяснение, он часто называл старое имя и оставлял его в воздухе, как оставляют на столе ключ, зная, что чужая рука однажды сама потянется к нему. Так он впервые заговорил со мной о самом Айлехе. Мы тогда, как обычно, сидели на сыром камне у края обрыва, и ветер вел по воде широкие темные полосы.

— Как ты думаешь, Эогайн, почему этот холм зовется Грианан?

Я, как всякий ребенок, ответил с готовностью:

— Из-за солнца.

Он улыбнулся едва заметно и долго молчал, словно давал слову быть посеянным в свою почву.

— Солнце любит высоту, — сказал он чуть погодя. — Солнце любит круг, любит камень, любит место, откуда видно далеко. Потому люди и дают такие имена. Только основания старых имен коренятся глубже простых образов. Они прячут в себе память о тех, кто жил здесь прежде людей, прежде королей, прежде нынешних генеалогий. Под твоими ногами спит не одна только земля. Здесь спит сияние.

Я не спросил, кого он имеет в виду. В раннем возрасте ребенок легко принимает смысл слов без потребности в точном объяснении. Мне было довольно и того, что в словах старика имя холма словно распахнулось в глубину. С того разговора Айлах стал для меня не только крепостью и домом рода, в нем словно проявилось нижнее, сокрытое основание. Я начал смотреть на всякий камень с чувством, что у него есть не только поверхность, обращенная к руке, но и внутренняя сторона, обращенная к памяти и древним силам.

В другой раз он позвал меня к своей келье у западной стены. Утро тогда выдалось сырым. Туман еще держался над склоном, и сквозь него едва проступала вода Лох-Суилли. У порога лежала тонкая связка темных ветвей, перевязанная узким ремешком. Я сразу заметил их особый цвет. Это была древесина почти черная, плотная, с красноватым внутренним отблеском на свежем срезе.

Финтан поднял одну ветвь и положил мне на ладони.

— Узнаешь?

Я покачал головой.

Тогда он сказал:

— Это тис. По-ирландски — еб. Дерево твоего имени.

Я вскинул на него взгляд. До той поры имя мое было для меня знаком рода, коротким звуком, которым меня звали в доме, приказывали, окликали, отличали от других сыновей. Я знал, что оно старое и почтенное, что оно унаследовано от кого-то давнего и значительного, я чувствовал в нем тяжесть происхождения. Но впервые кто-то говорил со мной о нем так, будто имя имело собственную глубину, собственный корень в мире вещей, свое тайное значение.

Финтан провел пальцем по темной коре.

— Эогайн, — произнес он медленно, словно прислушиваясь к самому строю слова. — Люди дают имя ребенку, думая о роде, о славе предков, о милости от Бога, о надежде на силу и долголетие. Только старые имена уходят куда глубже человеческого расчета. Они вырастают из деревьев, из камней, из воды, из звезд. Они помнят то, что знала земля задолго до появления на ней людей.

Он сел на низкий камень у стены и велел мне сесть рядом. В его руках тисовая ветвь выглядела практически как жезл, только совсем простой, без резьбы, украшений и металла.

— Смотри на него внимательно, — сказал он. — Он темен, растет медленно, живет очень долго. Зимой, когда другие деревья стоят пустыми, тис хранит свою зелень. Он любит старые места. Он стоит возле могил, возле святых оград, возле древних троп. Его древесина крепка, но сила его не шумная. Она уходит вглубь. Потому мудрые люди издавна знали: тис сохраняет пути между тем, что видно, и тем, что скрыто.

Я взял ветвь у него из рук. И правда, в ней было нечто особенное. Она казалась тяжелее, чем должна была быть при своей тонкости. Смола едва пахла, и все же в этом слабом запахе чувствовалась сухая горечь, словно сама древесина долго хранила память о зимних ветрах и темной земле.

— Между мирами? — спросил я.

Финтан кивнул.

— Между мирами, между временами, между живыми и мертвыми, между людьми и Древними, между словом и тем, что это слово только пытается назвать. Тис не спешит. Он

стоит на границе и умеет ждать своего часа. Потому ему доверяют то, что нельзя отдавать легкому дереву. Из него делают луки, когда нужна верная дальность. Его сажают там, где живым надлежит помнить о мертвых. Около него легче услышать то, что идет из глубины земли и из глубины памяти.

Он говорил тихо, и сквозь его слова я словно слышал ветер, идущий от океана. Над нами, по краю стены, прошла ворона. Ее когти коротко царапнули камень. Я помню этот звук до сих пор.

— В твоём имени живет ёб, — продолжал Финтан. — Это значит больше, чем просто дерево. Это — знак человека, которому дано расти сразу в двух направлениях. Корень его уходит вниз, в темную память предков. Ветвь же тянется вверх, к свету. Кто носит такое имя, тому нелегко довольствоваться одной поверхностью вещей. Он будет слушать глубже других, будет искать проход там, где прочие видят только стену.

Он замолчал и посмотрел на меня так внимательно, что я невольно опустил глаза к ветви у себя на коленях.

— Тебя называли Эогайн в доме королей, — сказал он затем. — Для них это имя рода и власти. Но для земли оно значит другое. Ты рожден от тиса. Значит, тебе предстоит помнить о связи. Связи между севером и югом, связи между домом живых и домом ушедших, связи между камнем и дыханием, между словом и тайным смыслом, между тем, чему учат в церкви, и тем, что старая Ирландия хранит в своих тайных холмах.

Эти слова впечатались в мое сознание с силой, которую я тогда еще не мог измерить. Я вдруг почувствовал, что мое имя обращено ко мне глубже, чем голоса родичей. До того момента я носил его, как одежду, данную от рождения, но теперь оно словно коснулось меня изнутри. Мне представилось, что само дерево, медленное и темное, стоит где-то у края видимого мира и удерживает тропу, ведущую дальше, в таинственные миры Промежутка. В его ветвях спит зима, в его корнях лежит старая земля, а между корнями и ветвями струится одна живая сила. И если имя мое связано с этим деревом, значит, и моя жизнь должна будет однажды научиться сохранять такую же связь видимого и таинственного.

Финтан поднялся и велел мне идти за ним. Мы подошли к самому краю западного склона, где ветер всегда был самым крепким. Там, у тропы, между камнями рос невысокий тис, согнутый воздушным напором и все же сильный, как будто сам холм произвел его из своей глубины. Старик остановился рядом с ним.

— Запомни, — сказал он. — Есть деревья, которые любят одно солнце, одну почву, один краткий век. Тис же держится там, где времена сходятся друг с другом. И хотя он растет в явном мире, часть его всегда принадлежит иному. Поэтому он — дерево порога и дерево перехода.

Я коснулся хвои. Она была жесткой, темной, холодной от тумана.

— Когда придет твой час учиться словам, — тихо добавил Финтан, — не забывай, что слово тоже должно быть как тис. Своим корнем оно уходит в безмолвие, а своей вершиной касается света. И между ними проходит живая сила смысла. Тот, кто говорит без корня, лишь попусту сотрясает воздух. Тот же, кто говорит от глубины — соединяет миры.

Мы долго стояли молча. Внизу лежала вода, над которой двигался серый свет. На мгновение мне показалось, что весь Айлах, весь холм, сама западная стена, келья Финтана, могилы, о которых я еще особо не думал, и далекие земли моей матери, которых я никогда не видел, соединены одной незримой нитью. И нить эта проходит через мое имя.

С того дня имя Эогайн перестало быть для меня формальным звуком домашних окликов. Я начал слышать в нем темную зелень тиса, его медленное возрастание, его верность порогу, его таинственное положение между видимым и сокрытым. И когда позднее Финтан учил меня слушать камень, тень, воду и ветер, я уже понимал, что он просто возвращает меня к тому, что уже было вложено в меня с самого рождения.

Во время наших прогулок Финтан часто говорил о тех, кого сам называл Иис Ши. Это имя вплеталось в его речь так естественно, как упоминают названия ветра, дождя или птиц. Для него Добрый народ не принадлежал сказкам или старым преданиям. Он жил в том же естественном мироустройстве, что и травы, воды, рассветы и закаты, жизнь и смерть. Тогда я еще не знал церковных отношений, не старался отделять допустимое предание от опасного, я внимательно слушал и принимал. Финтан говорил, что между здешним миром и иным нет непроходимой стены. Есть покров, тонкая завеса волшебства, которая колеблется от каждой перемены света, от каждого слова, сказанного в свое время, на каждом месте, где земля достаточно долго помнит прежние шаги.

— Людям нравится думать, будто дом начинается там, где поставлен порог, — сказал он однажды. — Но земля считает иначе. У нее множество порогов. Куст боярышника, когда он стоит в верном месте, тоже бывает дверью, вода у подножия холма может увести за порог. Камень, который хранит память и тени дольше других, тоже оказывается проходом. Сумерки, штормы, первый ветер после полудня, белый туман над ложбиной, тишина перед птицей — все это край Завесы. Там и кипит *Другая жизнь* (Сэл Эля, *Saol Eile*). Наш мир, этот *Ун сил Шё* (*An Saol Seo*), по которому мы топчемся своими сапогами, — это лишь тонкая корка на остывшей похлебке. А под ней, за ней и вокруг нее дышит *Ан сэн Эля* — Другая Жизнь. Есть *Тир на ног*, Страна Вечной Юности. Там никто не плачет о морщинах, а яблоки на деревьях никогда не гниют. Есть *Маг Мелл*, Равнина Блаженства, где радость льется как эль на пиру твоего отца. А если ты посмотришь на океан, когда закат окрашивает его в цвет крови, знай: там, под солью и пеной, лежит *Тир фо Туинн*, Земля под Волнами.

Он произносил эти слова спокойно, и потому они входили в меня без страха и сопротивления. Он не поучал и не внушал, он постепенно приучал меня видеть шире. Через несколько месяцев после наших первых разговоров я уже и сам сразу замечал на воротах боярышник, который один год цвел пышнее обычного, и весь день после этого воздух в Айлехе казался мне каким-то особенным, более легким, прозрачным и собранным. Я замечал, что у западной стены ветер порой звучит так, словно плавно перебирает струны невидимой арфы. Я замечал, что некоторые часы над водой несут в себе едва слышный, но все же вполне различимый шепот, похожий на язык, которого я еще не знал. Потом, много лет спустя, когда я взял в руки греческие тексты, отдельные звуки той речи напомнили мне тот северный гул у Лох-Суилли. Тогда я впервые подумал, что душа узнает некоторые голоса и формы раньше, чем находит для них имя.

О Волшебном народе Туата де Дананн Финтан говорил с особой собранностью, так, как клирик говорит о древнем отце Церкви. Его голос в такие минуты становился тише, и я невольно придвигался ближе.

— Они обращены внутрь, — сказал он однажды, когда мы стояли у наружного кольца стены и солнце уже почти ушло за воду. — Люди строят наружу. Они кладут камень на камень, ставят кровлю, возводят ограды, чтобы показать миру: вот мое. А *Чудесные соседи* умеют строить внутрь. У них есть свое число, свой свет и свои законы. Они знают, как войти в холм, в источник, в ночь, в самую память места. Потому только глупый человек говорит, что они прячутся. Умный человек знает, что они живут в *сиде*. А мудрый человек слушает, как они поют в тени. Они передали нам ключи от дома, но оставили себе право владеть его душой. Когда они пришли из своих городов — Фалиаса, Гориаса, Финиаса и Муриаса — они принесли с собой четыре корня, на которых держится все сущее. И когда ты начнешь познавать природу, ты просто будешь называть по именам те самые залы, которые они возвели в тишине холмов задолго до того, как первый камень был положен в основание Грианана.

С тех пор я смотрел на тени внимательнее. Раньше они были для меня просто знаком уходящего дня или преградой для взгляда. Теперь они стали казаться вмес­ти­ли­щем таинственного присутствия. На вечерних камнях, в темном углу стены, под кустом, где ветер вдруг сти-

хал, в выемке между двумя валунами я чувствовал особую плотность, словно сама тьма там скрывала нечто живое. Финтан учил меня не пугаться этого. Он говорил, что древнее знание не терпит судорожного страха. Оно любит почтение, молчание и точность.

— Смотри, как камень бережет тень, — повторял он. — В этом его верность. Всякая верная вещь умеет хранить то, что ей доверено.

Постепенно мне стало ясно, что все уроки Финтана направлены к одной глубокой мысли. Он ни разу не произносил слова, которые я узнал много позже, слова о логосе, природе, теофании, возвращении. И все же уже тогда он вводил меня в то же самое состояние ума. Он учил видеть смысл сквозь вещество. Он открывал, что мир не сводится к грубой поверхности предметов. В каждой вещи сокрыта первая мысль, благодаря которой она стала собой. И только тот, кто умеет удержать свое внимание на вещи достаточно долго, способен почувствовать эту внутреннюю суть. Для одних это только привычка доброго глаза. Для других — искусство поэта. А для немногих — путь всей их души.

Иногда старик ставил меня перед простой задачей. Мы подходили к кусту, к камню, к полосе воды.

— Что ты видишь?

Я отвечал по-детски: серый камень, мокрый мох, черную птицу, низкую волну.

Он кивал.

— Хорошо. Теперь стой дольше.

Мы стояли. Проходил ветер. По воде тянулся новый отблеск. Птица поворачивала голову. На мху проступала зеленая глубина. От склона шел запах сырой земли.

— Что теперь?

И я уже говорил иначе. Я чувствовал движение. Я замечал связь. Я видел, как одна вещь открывается через другую. Финтан почти никогда меня не хвалил. Однако он принимал мой ответ как шаг туда, куда и без того направлял меня с самого начала.

В один из дней он повел меня к западным воротам. У самых ворот рос старый куст боярышника, искореженный ветром. Дерево это казалось мне особенным еще прежде всяких объяснений. Его ветви никогда не располагались случайно. В них словно был свой тайный порядок, они словно знали, как повернуться так, чтобы держать воздух вокруг себя в особой таинственной тишине. Весной на нем было столько белого цвета, что на фоне серого камня он выглядел как горящий холодный свет. Финтан остановился рядом и коснулся коры.

— Это дерево не любит шума, — сказал он. — Им любят те, кто проходит рядом, не трогая землю тяжелой пятой. Когда оно цветет густо и долго, холм открывается для внимательного слуха. Тогда нужно меньше говорить и больше внимать.

Мы долго стояли возле куста. Я помню запах цветов, тонкий, пряный и водянистый, помню пчел, помню сырой ветер, помню, что весь Айлах оттуда казался мне прозрачнее обычного, словно между его грубой жизнью и чем-то невидимым натянулась тонкая светлая ткань.

То было первое время, когда я начал ясно ощущать: земля вокруг дома живет словно в двух реальностях. Одна принадлежит людям, их работам, распрям, пиру, охоте, молитве и сну. Другая же принадлежит глубинному ходу вещей, который древнее любого человеческого рода и который проступает в редких знаках для внимательного сердца.

Финтан никогда не произносил ничего вызывающего перед клириками. Он умел правильно выстроить свой порядок речи. В его словах не было вызова христианскому уму, который уже входил в мою жизнь в виде псалмов, молитв и церковных служб. Напротив, он словно знал, что оба знания касаются одного и того же мира, просто с разных сторон. Когда вечером из часовни доходил гул пения, он иногда слушал его с закрытыми глазами и потом говорил:

— Хорошее слово всегда открывает дорогу вверх. Старая земля помнит это не хуже книги.

Тогда мне начинало казаться, что между древним народом холмов и церковным пением есть некая тайная созвучность. Я еще не научился ее четко различить, но я уже слышал, как обе силы сходятся во мне в одно переживание полноты, где мир кажется больше всякой отдельной формы. Именно это переживание позднее много раз возвращалось ко мне при чтении Писания, у Дионисия, у Максима, в размышлении о природе как всеобщем явлении Божьего замысла.

Настоящий перелом наступил в один из осенних вечеров, когда туман пришел с воды рано и весь западный склон исчез почти до самой кромки стены. День был сырой, серый, без солнца. Доски у прохода отсырели. Плащи висели у огня. Над Лох-Суилли весь день лежала неподвижная тяжесть. В начале сумерек Финтан подошел ко мне без слов и знаком велел идти за ним. Мы вышли из внутреннего двора, миновали узкий проход и остановились у одного из камней внешней стены. Камень этот был крупнее соседних, темен и покрыт влажной пленкой. Туман струился мимо нас, и все вокруг казалось лишенным определенных очертаний. Явным был только камень, холодный воздух, слабый свет угасающего дня и старик рядом.

— Положи руку сюда, Эогайн, — сказал он.

Я коснулся камня. Ладонь сразу почувствовала холод.

— Что ты чувствуешь?

— Холод, — ответил я.

Он немного подождал.

— Спускайся глубже.

Это были странные слова, и все же я понял их сразу. Я не убрал рук с камня. И тогда ветер зашумел по верхнему краю стены, туман дрогнул. И хотя под пальцами продолжал лежать холодный камень, уже через несколько ударов сердца к нему прибавилось что-то еще. Сперва мне показалось, что я слышу море внутри стены. Потом это ощущение стало тоньше. В камне словно проходило очень медленное движение, похожее на спящую мысль, на дальнейшее дыхание, на внутренний гул мира, который не прекращался никогда и только ждал своего внимательного слушателя.

— Камень — это застывшая мысль, — тихо сказал Финтан. — Те, кто строили прежде людей, умели проникать в самую природу вещества глубже. Они могли сами стать камнем, когда хотели быть увиденными так. Они могли стать тенью, когда хотели остаться внутри. Ты живешь в доме, где память о них еще очень сильна.

Я стоял с ладонью на стене и чувствовал, как сквозь холод камня в меня входит иное знание. Оно не было видением, в нем не было ни явных образов, ни голосов, ни чудесного света. Однако было гораздо большее, словно сама ткань мира вдруг раскрылась передо мною как живая и мыслящая. Я понял, что стены Айлеха стоят на земле дольше человеческого строительства. И их основание коренится в таинственных глубинах времени и миров. Их окружает дыхание, исходящее из глубин, где еще властвуют дочеловеческие законы. Дом моего детства, дом отца, дом рода, дом скорби и иерархии, дом власти и сурового холода в тот вечер открылся мне как оболочка более обширного жилища. За его видимой плотью жила вечность, и эта вечность проявляла себя в каждом камне.

Финтан не мешал моему переживанию. Он ждал, пока я сам отниму руку со стены. Когда я наконец отступил, весь мир вокруг показался мне новым, более глубоким, более таинственным. Окружающий туман при этом будто бы сделался мягче, сырой воздух стал глубже, и даже шум воды внизу словно нес в себе силу, которую я прежде не замечал. Я смотрел на стену, на холм, на боярышник у ворот, на темный склон и понимал, что до этого мгновения жил среди знаков, не умея их читать. Теперь же чтение стало возможным.

Мы вернулись к его хижине. Внутри горел маленький огонь. На столе лежал знакомый гладкий камень и веточка сушеного боярышника. Финтан налил мне теплой воды с травами и долго смотрел в огонь, словно не хотел словами заслонять то, что уже произошло. Потом он произнес:

— Запомни этот вечер. Люди быстро теряют чувство глубины. Им нравится, когда вещь бывает только одной вещью. Так проще жить, проще делить, проще владеть. Истина же требует большего терпения. Ты увидел сегодня, что всякая плоть хранит глубину. Держись этого знания, и твой дом никогда не сузится до одних лишь стен.

Я молчал. Тогда мне впервые стало ясно, почему дом моего детства никогда не ограничивался для меня одной только семьей. Конечно, семья давала кровь, боль, место у стола, чувство близости и отчуждения. Однако Айлех давал камень, высоту, а еще — глубинную память. Финтан же открыл во всем этом третье измерение. Он показал мне, что истинное жилище человека находится там, где мир остается пронизываемым для своей первой мысли. Позднее я назову это иначе, я буду искать слова у греков и латинян, у отцов Церкви и у мудрецов древности. Но в тот осенний вечер я просто знал: вечность ближе кожи, ближе стены, ближе имени. Она дышит во всех вещах, и человек в самом деле рождается лишь тогда, когда впервые ее услышит.

После того дня все в Айлехе осталось прежним и вместе с тем изменилось. По двору по-прежнему ходили воины. В зале шумели пиры. Медб раздавала свои взгляды с прежней безупречностью. Братья проходили через свои учения и охоты. Отец возвращался с дорогой на плаще и тяжестью власти в походке. Только я уже смотрел на это из иной глубины. Всякое движение человеческого общества для меня происходило теперь внутри более обширной ткани. За гулом пиршества всегда стояла тишина холма. За тяжестью стены было вполне различимо древнее сияние. За каждым именем рода было безымянное старшинство самой земли. И чем яснее я это чувствовал, тем сильнее тянулся к Финтану, к его сухому голосу, к его вопросам, к его умению слушать мир так, словно тот давно готов заговорить.

Так он стал для меня наставником особого рода. И тогда, как отцы дают ребенку тело, имя и место в роду, а учителя рожают сам порядок ума, бывают еще люди, которые открывают человеку способ быть в мире. И Финтан принадлежал именно к их числу. Под его взглядом я учился понимать, что древние предания Ирландии живут не в стороне от настоящего дня. Они проходят сквозь травы, камни, сумерки, деревья, ветер, через церковный колокол, через старое имя холма, а иногда — и в молчании, которое вдруг становится полнее всякой речи. Так дыхание Древних вошло в мое детство как закон глубины, как первое откровение о том, что мир строится из видимого и сокрытого одновременно, и что человек, внимательный к обоим сторонам, однажды сможет услышать в самой материи голос вечного дома.

Много лет спустя, когда книги научили меня осторожности, а опыт — различать предания, образы и скрытую правду памяти, я не раз возвращался мыслью к Финтану. Тогда во мне вдруг выросло смутное подозрение, которое я долго не смел даже облекать в ясные слова. Что, если старик у западной стены был не просто хранителем покоев моей матери и не просто человеком, сведущим в древних рассказах? Что, если его имя было не подражанием, а источником, что, если он и был тем дожившим до моих дней Финтаном мак Бохра, которого старые предания именуют Мудрым, спутником Кессайр и свидетелем времен, лежащих по ту сторону обычной человеческой памяти? Ирландия знает таких хранителей древности. Они проходят через века как сосуды памяти, в которых земля сохраняет свое исконное знание. Я не могу утверждать этого как знание, доступное доказательству, но мне довольно и того, что его голос, его лицо, его знание холмов и ветров, его необычайная свобода внутри дома моего отца, его власть над молчанием и над самим воздухом места слишком хорошо согласуются с образом древнего свидетеля, помнящего первые времена Земли. Потому, вспоминая его, я всякий раз чувствую, что сидел у края Лох-Суилли не рядом со стариком, а рядом с самой памятью Ирландии, принявшей человеческий облик.

Глава 4. Фахан Муры

К осени седьмого года моей жизни воздух в Айлехе сделался особенно прозрачным и суровым. В такие дни холод приходит еще до настоящей зимы. Он собирается в камнях, в сырости дощатых проходов, в ветре, который поднимается от Лох-Суилли и цепляется за стены с раннего рассвета. Внутри большого дома все шло по прежнему порядку: дружинники выходили во двор, собаки рвались с привязи, слуги носили воду, клирик, приставленный к дому, читал положенные часы, женщины следили за огнем и тканями, старшие братья держались прямее и шумнее, чем год назад. Только я уже чувствовал, что для меня этот порядок подходит к границе. Дом, столько лет державший меня внутри своих суровых правил, уже готовился выпустить меня из себя.

Принятое отцом решение о моей судьбе не было торжественно оглашено. В таких домах многие важные решения принимаются быстро, будто сами собою. Слово, сказанное в нужный час нужным человеком, весит больше длинного совета. Тем утром отец стоял во дворе, осматривая людей после раннего выезда. На его плаще еще держалась влага. Один из старших назвал мое имя, потом название монастыря Фахана (или Фона, как также произносили это слово), куда мне надлежало отправиться, затем несколько слов о пользе для дома, о церковном воспитании, о правильной доле младшего сына. Отец выслушал и кивнул, и этого оказалось довольно. В жизни рода такой кивок значил больше печати и больше клятвы. Медб стояла поодаль с опущенными веками, и в этой безукоризненной неподвижности уже чувствовался ее безмолвный триумф. С той минуты мой путь был уже проложен.

Я понял это сразу и, к собственному удивлению, не почувствовал печали или обиды. Напротив, во мне родилось иное чувство, знакомое по тем временам, когда Финтан впервые учил меня стоять у камня дольше обычного и слушать глубже привычного. Это чувство, по которому сама душа узнает, что перед нею открылся проход. В глазах воинов мое удаление в монастырь означало полезную и почетную перемену: дом получал молитвенного сына, церковь — мальчика знатной крови, а общий порядок рода делался проще и яснее. Для Медб это решение было завершением долгой внутренней работы. В доме оставались только те линии наследия, которые ей хотелось видеть ближе к огню и к власти. А я уходил туда, где мое присутствие уже не тревожило строй престолонаследия. Все это я понимал даже в семь лет, хотя, конечно, и не умел еще выразить столь связно. Вместе с тем в самой глубине сердца я чувствовал какое-то предвкушение, словно дорога в монастырь вела меня не в отдаление, а к какому-то давно обещанному наследию.

Ночь перед отъездом прошла без сна. Ветер носился вокруг круглой стены так настойчиво и долго, словно стремился запомниться мне особым образом. Я часто вставал, подходил к узкому проему, снова ложился, слушал, как потрескивают балки, как в дальнем конце дома кто-то кашляет, как снаружи гулко лает собака. Мне казалось, что весь замок прислушивается вместе со мной. Детство вообще имеет свойство оживлять вещи, и все же в ту ночь это чувство было не ребяческой игрой воображения. Я действительно переживал дом как живое тело, у которого есть свои память, нрав и голос. К утру туман поднялся с низин и лег вокруг холма так густо, что когда рассвело, Айлах стоял словно корабль среди белого моря.

Я вышел к южному проходу раньше, чем меня позвали. Там уже ждала Ланд. Она стояла, завернувшись в темный плащ, и туман садился на ее огненные волосы и ресницы мелкой влагой. Она держалась прямо, как и подобало дочери высокого рода. Ее лицо было спокойно, только тонкие пальцы выдавали внутреннее движение: они чуть заметно дрожали, словно от холода, пока она застегивала на груди свой плащ, потом разглаживали край ткани, потом снова соединяя руки. В большом доме детей сызмальства учат тому, как следует переносить проща-

ние на виду у людей. Ланд усвоила эти правила давно. Я подошел, и она без слов положила руки мне на плечи. Ее ладони были холодны как лед.

— В Фахане тебя будут звать иначе, — сказала она тихо. — Там не станут помнить каждую тень этого дома. Это хорошо. Главное ты сам всегда помни, кто ты.

С этими словами она вложила мне в ладонь маленькую серебряную фибулу. Эмаль на ней была темная, сине-зеленая, как вода Лох-Суилли в час, когда над ней проходит солнце после дождя. Я сразу узнал в ней вещь южной работы. В Айлехе умели ценить металл, крепкую застежку, гладкую костяную рукоять и тяжесть золота. Но в этой фибуле было другое мастерство: тонкость линий, сдержанный блеск, внутренняя стройность узора.

— Это было ее, — прошептала Ланд.

Она не назвала имени, и все же мать в эту минуту вошла между нами так явственно, словно мы обеими руками коснулись ее памяти.

— Возьми. Держи при себе. Когда тебя станут учить склонять голову, помни, что тис не ломается от ветра. Он растет сквозь него.

В ее голосе прозвучали слова Финтана, только преображенные сестринской любовью. Я сжал фибулу в кулаке и почувствовал, как вместе с холодом металла в ладонь проникает какая-то собранность. Я не плакал. Детское сердце может быть полным до боли и все же держать слезы глубоко. Я глядел на Ланд и понимал, что именно сейчас разрывается последняя нить моего чисто домашнего детства. Она оставалась в Айлехе как память о матери и как живая часть того мягкого южного дыхания, которое столько лет хранило меня среди волчьей школы. Я уходил один.

Хотя Финтана у ворот не было, в этом не чувствовалось ни забвения, ни холодности. Я понял это еще прежде, чем увидел его. Повозка тронулась, скрипя и слегка пробуксовывая по влажной земле. Колеса медленно пошли вниз по склону. Я обернулся, и, когда туман на мгновение разошелся, увидел старика на краю западной высоты. Он стоял так прямо, что казался вырезанным из самого серого воздуха. Его плащ почти сливался с небом. Он не поднимал руки в обычном прощальном движении. Он держал свой посох и чертил им короткий знак, тонкий и строгий, словно врезал в сам воздух невидимый проход. И в то же мгновение я услышал его голос внутри себя с такой ясностью, какой не бывает у воображения. Это не был звук, это было словно прямое узнавание смысла.

— Там ты найдешь ключи, которых я дать не мог. Читай то, что пишут чернилами. Читай то, что хранит время. Но не забывай и о том, что написано на самом пространстве.

Я не испугался. Напротив, во мне установилось спокойствие, подобное тому, какое приходит после долгой непонятной тревоги, когда человек вдруг находит ей объяснение. Я спрятал фибулу за пазуху и сел глубже в повозку. Замок еще некоторое время виднелся сквозь туман тяжелым кругом стены, темной линией на высоте, а потом словно растворился, и вместе с ним исчез прежний образ моей жизни.

Дорога в Фахан была недолгой, но в памяти моей она растянулась как переход из одного мира в другой. Пока мы спускались, воздух менялся: на вершине он был холоден, суховат и суров, ниже он становился гуще, влажнее, солонее. С моря тянуло водорослями и сырым песком. В ложбинах дольше держался туман. Трава стояла отяжелевшей от воды. Люди на дороге казались мне ниже ростом, спокойнее в походке, менее острыми, чем дружинники Айлеха. Мы миновали несколько дворов, огороженных проще и тише, чем королевский круг, проехали мимо пашен, где земля лежала темной и жирной, и наконец впереди проступил Фахан, как собрание смиренных строений, размещенных вокруг одного центра, невидимого с первого взгляда и потому еще более властного.

Первое, что я услышал там, был колокол. Звук его пришел тонко, чисто и долго. Он не прорезал воздух, как охотничий рог у нас в Айлехе, и не требовал немедленного ответа. Однако он собирал, властно влек души к одному месту. Этот звон сразу поразил меня. Хотя в нем не

было привычной грубой силы, зато была ясная власть порядка. Позднее я много размышлял о словах и их природе, о согласии между звуком и смыслом, о порядке, по которому невидимое облекается в слышимое. Теперь, оглядываясь, я вижу, что один из первых уроков такого порядка я получил именно тогда, у входа в Фахан, когда тонкий металлический голос встретил меня вместо боевого гула.

Монастырь стоял на восточном берегу, у вод Лох-Суилли, скромно и твердо. В нем не было ни величественной высоты, ни королевской замкнутости Грианан Айлеха. Низкий вал, хижины-келии, несколько хозяйственных построек, каменная церковь, дорожки между ними, запах влажной земли, дымка над очагами, люди в одеждах из шерсти более грубой и более чистой, чем у воинов, — все это казалось с первого взгляда малым. Однако в самой этой малости была особая, еще мне не знакомая, собранность. Здесь словно ничто не стремилось выставить свою силу наружу, все существовало ради внутреннего порядка. И я, привыкший к дому, где каждый предмет был связан с достоинством рода и с видимостью власти, сразу почувствовал здесь иной строй мира: здесь вещи служили не величию дома, а сосредоточению, мудрости и памяти слова.

Меня провели через двор, и тут я увидел крест - каменную стелу, которая навсегда вошла в мою душу. Он высился практически в самой середине того пространства, где ходили монахи, ученики, слуги и паломники. Высокий, плоский, покрытый переплетениями, он казался одновременно древнее всего вокруг и более живым, чем любая новая постройка. Пораженный, я остановился так резко, что сопровождавший меня человек обернулся. Вся поверхность камня была покрыта линиями орнамента. Лента входила в ленту, изгибалась, возвращалась, перегибалась, образовывала узлы, круги, стянутые петли, скрытые ходы. Взор шел по ним и уже не мог оторваться. Мне показалось, что я вижу каменную ткань самого мира, где все связано, все продолжается, все возвращается, и ничто не лежит отдельно.

Только привлекла мое внимание не одна лишь вязь. На боковой грани шли буквы — угловатые, строгие, древние, и в них я почувствовал то же самое странное родство, какое прежде слышал в ветре у западной стены Айлеха, когда Финтан заставлял меня прислушаться глубже привычного. Тогда это была еще безымянная музыка. Теперь она обрела свою странную форму.

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΥΙΩ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

Я еще не учился греческому. Мне никто не давал этих знаков как урок. И все же, увидев их, я пережил мгновение такого внутреннего узнавания, какое бывает лишь тогда, когда память глубже нынешней жизни вдруг касается поверхности сознания. Я протянул руку и коснулся буквы дельта. Камень был холоден. Холод этот вошел в пальцы, потом в ладонь, потом выше, к сердцу. На краткое мгновение серый двор, низкое северное небо, влажный воздух и людские шаги вокруг словно расступились. Передо мною вспыхнул иной простор: светлый, практически белый, с резкой синевой в вышине, с морем другого цвета, с отблеском на гладком камне. Я увидел это не телесным зрением, но вся моя душа на один удар сердца вдруг вспомнила форму мира, которую никогда не знала в этой жизни.

Я коснулся выемки буквы, и в то же мгновение мне почудилось, что холод камня идет не в ладонь, а глубже, туда, где память еще не стала словом. Губы мои шевельнулись сами собой, почти без звука, словно повторяя то, что было однажды услышано ушами не этого тела.

— Докса... — выдохнул я.

Потом пришел еще один звук, темный, тяжелый, знакомый прежде всякого понимания.

— Патри...

Я не знал, сказал ли это вслух или только подумал. Светлый отблеск, вспыхнувший было за внутренним взором, уже угасал. Колонны, море, белизна далекого неба — все это ушло так же быстро, как проходит отражение на воде, когда ветер только тронет ее поверхность. Я вновь

вернулся в монастырский двор, сырой воздух, тонкий звон, еще дрожавший где-то в высоте, и камень под моей рукой, холодный, как прежде, и все же уже не такой, как прежде.

Привратник рядом со мной перекрестился. Я услышал его дыхание раньше, чем его голос.

— Ты знаешь этот язык, дитя? — спросил он тихо, с тенью опаски в голосе.

Я медленно отнял руку от стелы. Пальцы мои дрожали.

— Нет, — сказал я. — Только... будто вспомнилось.

И это было самым верным, что я мог тогда сказать. Я не читал надписи. Я не знал ее. Я даже не мог бы повторить тех звуков как следует. Но в них была древняя сила, уже однажды коснувшаяся меня — в ветре над Лох-Суилли, в словах Финтана, в чем-то таком, что не содержится в памяти дня и все же ждет своего часа. Камень не открыл мне смысла надписи, он только приподнял завесу над глубиной, где этот смысл уже был, но еще не распознан. Так Фахан встретил меня не одним послушанием и не одной церковной оградой. Он встретил меня знаком, который узнал меня раньше, чем я успел узнать его.

Позднее я узнал о камне святого Муры больше. Это был древний монастырский крест-камень, поставленный здесь задолго до моего прихода, еще в ранние века церковной жизни. Монахи показывали мне переплетения на его сторонах и учили видеть в них память о мире, где всякая линия ищет возвращения к источнику. Позднее я узнал и о самом Муре. Мне сказали, что это был древний святой севера, ученик Колума Килле и первый аббат Фахана, поставленный хранить здесь молитву, школу и порядок братии. Он жил в те ранние века, когда ирландская церковь еще только утверждала свой строй среди ветра, камня и старых мест силы. Потому имя его в монастыре произносили как первого отца этого места, того, кто однажды освятил берег Лох-Суилли и оставил после себя не только память, но и меру всей здешней жизни.

Тогда же монах посмотрел на меня уже иначе, его лицо стало внимательнее, строже. Он еще раз перекрестился и позвал кого-то по имени. Через несколько мгновений ко мне подошел человек лет сорока с узким сухим лицом, с чисто подстриженной бородой и глазами, в которых горели и осторожность, и ум. Он назвался братом Коналлом. В дальнейшем он должен был надзирать за моими первыми годами в монастыре, следить за чтением, письмом, памятью, дисциплиной и тем переходом, который должен был медленно превратить меня из сына короля в человека школы.

Тогда же он неспешно осмотрел меня, словно оценивая мою пригодность к монастырской жизни. Его взгляд сразу отметил дорожную сырость на моем плаще, крепкую застежку на ремне, слишком хорошую шерсть для рядового послушника, осанку, выученную в доме, где дети с первых лет сидят прямо. Потом его глаза задержались на моей руке, еще хранящей недавнее прикосновение к кресту.

— Ты сын из Грианан, — сказал он. — Здесь ты будешь сначала слушать, потом молчать, потом учиться говорить как должно. Это место требует порядка.

Он произнес эти слова мягко, в них чувствовалась скрытая доброта, та церковная доброта, которая хотя и не балует, но вводит в порядок. Я кивнул. Коналл повернулся и знаком велел идти за ним. Мы прошли мимо келий, мимо мастерских, где кто-то правил деревянную раму, мимо малого сада, уже почти опустевшего к осени, и наконец остановились у длинного строения, откуда шел особенный запах — смесь пергамента, клея, воска, старого дерева, лампадного масла и чуть заметно - овечьей кожи. Этот запах я запомнил сильнее многих людских лиц. Так пахла дверь в мою новую жизнь.

Перед входом Коналл задержался и посмотрел на меня внимательнее.

— Здесь тебя будут звать Маэл Калайинн (Слуга времени), мы уже выбрали имя, и наречем тебя им, когда придет время, — сказал он. — Имя послушания отсекает шум мира и помогает душе слушать.

Я выслушал его слова спокойно. В них чувствовалась непререкаемая власть монастыря, абсолютно уверенного в своем праве переименовывать человека ради высшего порядка. И все же в глубине меня уже горел иной огонь. Камень святого Муры заговорил раньше, чем монастырское послушание успело погрузить меня в новые звуки вместо старых. Имя, вложенное в меня в Айлехе, память тиса, южная фибула матери у меня за пазухой, знак Финтана на туманной высоте, греческая доксология на каменной грани — все это уже сложилось в такую тайну, которую просто никак нельзя было ни переименовать, ни стереть.

Коналл отворил дверь. Внутри скриптория было полутемно и удивительно тихо. Несколько человек сидели за столами. На досках лежали листы, ножи, пемза, перья, линейки, раскрытые кодексы. Свет падал косо, через малые окна, и собирался на белесой поверхности пергамента. Здесь не было криков, даже шепот не слышался, не было звона оружия, не было движения слуг, собак и коней. Однако здесь царствовала совсем иная работа — медленная, точная, почти бескровная и вместе с тем исполненная великой власти. Люди слова правили мир не копьем, а буквой. Они удерживали память без пения филидов на пирах, одной строгой чертой, положенной на выбеленную кожу. Я стоял на пороге и чувствовал, что вступаю в область, где судьба моя наконец обретет собственный язык.

В тот час жизнь принца Эогайна действительно завершилась. Я не имею в виду кровь или род, они остались во мне навсегда. Я говорю о первой фазе существования, в которой человек принадлежит дому телесно и без остатка. У дверей скриптория я переступил в другой порядок. Замок дал мне высоту, камень, ветер, память рода, раннюю рану утраты и дыхание древней Ирландии. Монастырь же принял все это и обратил к слову Божию. Впереди меня ждали латинские строки, церковная дисциплина, буквы, числа, пение часов и псалмов, толкование, переписывание, ночная усталость глаз, ранние прозрения и новые страхи. Но уже в первый день мне было дано великое утешение: камень узнал меня прежде людей. И потому я вошел в монастырь не сиротой и не пленником. Я вошел как тот, кому назначено читать сразу на двух поверхностях мира.

Вечером, когда меня оставили в малой келье, я вынул из-за пазухи серебряную фибулу и долго держал ее в руке. Снаружи слышался далекий колокол. Влажный ветер шел с залива уже мягче, чем на высоте Грианан. За стеной кто-то вполголоса читал какие-то молитвы. Я вспомнил Ланд, вспомнил лицо Финтана в тумане, вспомнил буквы на камне и впервые ясно почувствовал, что пути назад уже нет. Человек, однажды переступивший порог слова, уже не смотрит на мир прежними глазами. Вещи начинают требовать толкований, имена начинают открывать скрытые глубины. Камень, дерево, ветер, свет, книга, молитва — все входит в одно великое предложение, еще не дописанное до конца.

Я лег на жесткое ложе и долго не засыпал. В темноте монастырская келья показалась мне сначала тесной после простора Айлеха. Однако со временем теснота словно стала иной: собранной, ясной, даже отчасти благодатной. Я слушал собственное дыхание и думал о том, что дом, из которого я уехал, держал меня камнем. Но тот дом, в который я прибыл, будет держать меня словом. Между ними не было вражды. Между ними лежал тайный мост, который я уже однажды почувствовал ладонью на сырой стене и сегодня снова ощутил в греческих буквах на стеле святого Муры. Мост этот вел глубже, чем кровь, дальше, чем власть, выше, чем память рода. Он вел туда, где каждая вещь раскрывается как знак и где всякое истинное чтение постепенно становится возвращением к истоку.



Часть 2. Тень святого Муры (809-819)

Глава 1. Маэл Калайинн

Наутро после первой ночи в Фахане я проснулся с привычкой вслушиваться в ветер Айлеха прежде людских голосов. Но разбудил меня колокол. Он прозвучал еще во тьме, над самым краем воды, и его тонкая медь сразу будто собрала пространство вокруг кельи. Я сел на жестком ложе, коснулся босыми ступнями пола и почувствовал сырость голой земли. За стеной уже двигались люди. Кто-то откашлялся, кто-то тихо отодвинул засов, кто-то прошел по двору быстрым шагом, неся лампу под плащом. Брат Коналл вошел без предупреждения, поднял светильник и сказал, что сегодня мне надлежит предстать перед аббатом уже не как гостю из Грианана Айлеха, а как ребенку, которого принимает семья святого Муры. От этих слов темнота в келье словно приобрела какую-то структуру. Прошлый вечер еще стоял передо мною с его греческими буквами на камне, с запахом пергамента, с тишиной скриптория. Теперь начиналось то, ради чего меня привезли сюда из дома моего отца.

Мы вышли в монастырский двор до рассвета. Над Лох-Суилли висел тяжелый северный мрак, в котором вода почти сливалась с небом. У берега стояли лодки, вытянутые на песок, крыши низких строений темнели от ночной сырости, а над церковью уже дрожал слабый огонь ламп. Я помню тот час вполне телесно: холод словно проникал в шею сквозь край шерсти, земля под ногами была твердой и влажной, в воздухе держался запах соли, дыма и овечьей шерсти. В Грианане высота давала человеку чувство простора и дозора. В Фахане же все было ниже, теснее, ближе к земле. Однако сама эта близость создавала свое достоинство. Здесь жили в пределах ограды, поставленной для молитвы, чтения и труда. Каждый предмет казался здесь на своем месте с такой точностью, словно его давно уже вписали в невидимый устав: колокол звал, дверь церкви раскрывалась, лампа горела, вода ждала в кадке, братья шли к хорам, и никто не расходовал движения попусту.

У церковного порога нас уже ждали двое старших монахов и настоятель. Епископ-аббат Фотад, прозванный Фотадом Канона за свою непреклонность в законе, смотрел на меня из-под тяжелых бровей. Пятнадцать лет назад именно он убедил моего отца освободить монахов от обязательного участия в военных походах, и, таким образом, от пролития крови. Теперь же отец отдал ему меня, словно живой залог этого старого договора. Лицо аббата было сухим, с высоким лбом и глазами человека, который давно привык смотреть на людей через призму правил, законов и мудрости Писания.

Возле алтаря лежал посох святого Муры, старый *бакхалл*, оправленный металлом. Вчера я успел увидеть лишь его очертание под тканью. Теперь он лежал открыто, и в его изгибе я различил одновременно знак пастыря и символ власти. Мне потом не раз приходилось видеть, как подобные реликвии действуют на королей, воинов, тяжущихся и простых земледельцев. В Ирландии моего детства посох святого служил знаком правды, покрова и памяти, которая сильнее отдельной человеческой воли. Именно у такого посоха меня и должны были отделить от прежнего дома.

Аббат долго смотрел на меня, будто взвешивал в моем малом возрасте не только детскую робость, но и ту тяжесть крови, с которой я пришел. Потом он церемониально спросил, как зовут меня в миру. Я ответил так, как меня учили отвечать на подобные вопросы в доме:

— Эогайн мак Аэда.

Я услышал в собственном голосе отзвук Айлеха, и сердце мое на краткий миг сжалось. За моей спиной стояли двое людей отца, присланные для порядка и свидетельства. Вчера они довели меня до Фахана, а сегодня должны были увидеть, как монастырь принимает младшего

сына Аэда. Один из них держал мой пояс и малый нож, снятые еще накануне. Здесь, перед алтарем, эти вещи обрели новый смысл. В доме воина пояс словно собирает тело воедино, а нож обозначает мужскую пригодность к защите, походу и крови. В церкви же их передают из рук в руки как свидетельства жизни, оставленной за порогом. Я протянул руки, взял пояс в ладони и передал его обратно старшему из отцовских людей. От этого движения мне стало особенно ясно, что даже у ребенка бывает свой час отречения. Он приходит рано в тех домах, где каждый сын с рождения принадлежит установленному порядку своего рода.

Затем меня подвели к низкой скамье, и брат, державший бритву, положил ладонь мне на голову. Я уже понимал, что меня ждет постриг, только до той минуты знал о нем лишь как о каком-то малопонятном слове, принадлежащем миру взрослых. Но когда железо впервые коснулось моей кожи, это слово беспощадно стало телом. Волосы падали медленно, и с каждым движением бритвы я все яснее чувствовал внезапную наготу головы, холод воздуха и то странное облегчение, в котором уже была утрата. Я сидел неподвижно и понимал лишь одно: с меня снимают не только волосы, но и видимый знак прежней жизни. Холод бритвы, шорох падающих волос и внезапная нагота лба запечатлелись в памяти ребенка надолго. Я сидел неподвижно и чувствовал, как воздух церкви касается меня уже по-новому. В Айлехе на моей голове лежало родовое имя. Здесь же разум открывали под дыханием слова Божия. Мне потом много раз вспоминался этот жест. Тогда я пережил его телом, а позднее понял и умом.

Когда брат отступил, аббат снова заговорил. Он произнес имя, которое уже мелькнуло вчера из уст Коналла, однако теперь оно прозвучало над алтарем и потому стало частью моего бытия:

— Отныне в этой общине ты будешь зваться Маэл Калайинн.

Я еще не понимал тогда всей тяжести имени. Первое слово, *máel*, мне объяснили сразу. В монастырской речи оно значило и стриженного, и посвященного, и слугу, вступившего под чужую власть ради спасения своей души. Вторая часть имени была темнее, труднее и глубже. Коналл позже пояснил мне, что она связана с латинскими календами, с началом месяца, со счетом дней, с церковным временем, которое надо уметь хранить так же твердо, как король держит землю и людей. Мне было семь лет, я не знал еще ни латинской науки о календаре, ни вычисления Пасхи, ни круга луны, ни золотого числа. И все же в этих словах что-то отозвалось. Старое имя Эогайн связывало меня с тисом, с корнем рода и с дыханием древней земли. Но теперь уже новое имя помещало меня внутрь круга времени, которому служат молитвой, чтением и точным счетом церковных дней. Так в одном коротком провозглашении монастырь указал на то, чем мне предстояло жить.

После наречения аббат велел мне подойти к камню святого Муры. Вчера, на самой границе дороги и двора, я коснулся его впервые и услышал внутри себя едва пробудившийся голос греческих букв. Сегодня все происходило в ином свете. Один из старших монахов, стоявший рядом, медленно перевел мне смысл надписи, которую я еще не умел читать: слава и честь Отцу и Сыну и Святому Духу. Тогда я впервые понял, что этот камень несет на себе не просто странные знаки далекого языка, а доксологию, хвалу Святой Троице, вырезанную на берегу северного лоха рукой людей, для которых Греция уже была далекой памятью из полузабытых книг, и уж точно не дорогой странствия. Я положил ладонь на холодную грань. Камень снова отозвался под пальцами глубокой тишиной, и на сей раз она вошла в меня уже не пугая. В том прикосновении было принятие. Отныне я принадлежал не одному лишь дому моего рождения, но и дому Муры, основанному, как говорили в Фахане, еще почти триста лет назад Колумом Килле для своего родича и ученика, первого аббата этого места. Так с того часа я сделался сыном Муры и учеником его берега. Это значило гораздо больше, чем перемену имени и одежды. По обычаю и праву страны я уже не оставался просто царским сыном, отданным на воспитание, теперь надо мной стояла власть аббата и монастырской familia, а дом святого Муры становился моим законным домом.

Когда с меня сняли тонкую льняную *лейне* (нижнюю тунику), еще помнившую дом и отмеченную королевской вышивкой по подолу, кожа моя сразу воспротивилась грубому прикосновению новой одежды. Мой тяжелый плащ (*Brat*), окрашенный мареной и сколотый хорошей застежкой, унесли вместе с прочими знаками прежней жизни, а взамен на плечи лег серый *кохал* (короткая накидка с капюшоном) из некрашеной шерсти, пахнувший овцой, ланолином и торфяным дымом. Его застегнули простой костяной иглой, и в ту минуту я особенно ясно понял, что вес золота сменился весом послушания. Эта шерсть колола шею и плечи, словно призывая человека к его простейшему состоянию — к телу, холоду, труду и молитве. В Фахане любили такую шерсть еще и потому, что в ней человек выглядел беднее самого себя и потому легче помнил, Кому принадлежит.

В доме моего отца шерсть тоже окружала человека постоянно, однако там она несла на себе следы достатка, окраски, дома и ранга. И в первый же день в монастыре я ощутил разницу между двумя порядками повиновения. В замке повиновались праву крови, возрасту, силе и месту у стола. В Фахане повиновение происходило от устава часа, от слова настоятеля, от церковного звона, от книги и алтаря. Моя княжеская кровь для монастыря значила гораздо меньше, чем для людей моего отца. Здесь меня ожидали не привилегии младшего принца, а школа смирения, привычная для многих «лишних» сыновей королей Европы.

Первые недели после пострига запомнились мне всепроникающей усталостью. Я вспоминаю их как непрерывное чередование холода, раннего пробуждения, псалма и работы. Колокол поднимал нас затемно. Тунику я уже подпоясывал простым ремнем, таким же, какие носили прочие братья, и этот ремень ощущался на теле даже резче новой шерсти: он не обозначал ранга, не держал нож воина и не напоминал о доме, а словно связывал человека для труда. На ногах у меня теперь были простые кожаные башмаки (*куараны*), сырые от утренней земли и стянутые ремешками у щиколотки. После сухого тепла домашней обуви они сперва казались мне просто продолжением самой почвы, и я очень скоро понял, что в Фахане человек идет не поперек земли, а вместе с ней.

Мы шли в церковь, где в полумраке и дыме ламп поднимался первый часовой чин пения. Потом следовали простые дела: младшим доставались ношение воды, рубка дров, подметание, чистка сосудов, помощь на кухне, перенос рыбы от берега, работа возле ручной мельницы. Особенно хорошо я помню жернов. В первый раз мне показалось, что дело это проще, чем хотят показать старшие. Но уже к полудню ладони мои покрылись тонкими трещинами, а к вечеру на правой руке выступила кровь там, где кожа терлась о грубый деревянный хват. Я не смел разжать пальцы при других и потому только крепче сжимал рукоять, пока соленый пот не начал щипать содранное место. Один из старших братьев, заметив, как я после работы прячу руки в складках плаща, велел показать ладони и сказал без всякой жалости: «Хорошо. Теперь тело твое начало понимать то, чего кровь понимать не хотела». Тогда я впервые ясно почувствовал, что в Фахане смирение входит в человека через усталость, холод и боль, которую нельзя ни разделить с другим, ни выставить напоказ. Круглая тяжесть жернова и его медленное вращение многому меня научили прежде всякой книги. При нем быстро понимаешь, что многократное повторение способно быть формой внутреннего очищения. Зерно дробится медленно, руками, дыханием и терпением. И тогда же во мне дробились гордость дома, обида крови и привычка смотреть на мир как на лестницу рангов. В Фахане послушников приучали к реальности вещей с той же настойчивостью, с какой учили словам псалма.

Еда была скудна и однообразна. Овсяная каша, сыворотка, иногда ячменный хлеб, чаще рыба из Лох-Суилли. Запах теплой овсянки по утрам и вкус сыворотки я по сей день помню так же точно, как запах пергамента. В холодной стране именно такая пища дает телу силу выжить, но не более того. За трапезой обычно один из братьев читал вслух. Я еще далеко не все понимал, зато с ранних месяцев привык к соединению хлеба и слова. В Грианане за столом господствовали рассказы о походе, дарах, споры, генеалогии и слава. В Фахане пищу

сопровождало чтение Писаний и Поучений, и потому сама трапеза становилась продолжением молитвенного делания. И с тех пор этот порядок вошел в меня глубоко. Мне навсегда стало ясно, что точно так же, как пища дает силы телу, слово должно питать человека ежедневно, иначе ум быстро грубеет, как земля, оставленная без ухода.

Дух Фахана в те годы был весьма суров. По всей Ирландии уже тянулось веяние *Кели Де* (*Céli Dé* — «*Рабы Божьи*»), тех, кого связывали прежде всего с областью *Тамлахт* (*Tamhlacht*) на востоке острова и святым *Маэл Руайна* (*Maol Ruain*), недавно основавшим там монашеские поселения. От них происходил набирающий популярность обычай большей собранности в пределах одной общины, большей чистоты жизни, большей строгости к плоти, большего веса литургической молитвы, умственного упражнения и ручного труда.

Как я слышал, сам Тамлахт в мистическом смысле был особенным. Его название, «чумное захоронение» или «место упокоения», произошло от предания, по которому именно там были похоронены тысячи последователей Партолона (одного из первых народов Ирландии), погибших от чумы за одну неделю в прадавние времена. И связь святого Маэл Руайна с таким местом, конечно, добавляла значимости учению *кели де*. Место считалось «тонким», и монахи верили, что молитва и пост в Тамле позволяют заглянуть в скрытый Иной мир. И неудивительно, что именно там несколько лет назад были составлены уже ставшие знаменитыми и в Фахане «Мартиролог Тамлахты» и «Миссал» — важнейшие рукописи, включавшие как имена ирландских святых, так и отголоски древних традиций.

Но все же Фахан не был Тамлахтом, и аббат наш не любил громких именований, однако воздух перемен уже достиг и северного берега. Старшие держали себя строже, чем вели бы себя в обители прежнего поколения. Час опоздания чувствовался как близкое к непростительному повреждение порядка. Лишнее слово тяготило, сытость желудка казалась помрачением. Я видел, как некоторые братья входили в ледяную воду Лох-Суилли ради покаянной молитвы, стояли в ней на рассвете до тех пор, пока губы не синели от холода, и продолжали шептать псалом. Младших к таким подвигам подводили осторожнее, однако и нам доставались ледяной берег, сырой ветер и телесная память о том, что плоть следует обуздывать под властью духа ежедневно.

Довольно скоро мне поручили одно из дел, которое особенно сильно повлияло на мой ум: уход за посохом Муры. Сперва я лишь подавал ткань и держал лампу, пока старший хранитель раскрывал ковчег. Потом мне позволили осторожно проводить мягкой материей по металлу оправы, снимать с дерева влажную пыль и следить за тем, чтобы пальцы не касались лишнего. Посох хранил на себе следы долгого времени: тусклый блеск, потертость, плотную тишину реликвии, у которой есть собственная память. К монастырю с тяжбами и клятвами часто приходили люди из окрестных земель. Иногда являлись посланцы знати. Тогда *бакхалл* выносили с особой серьезностью, и я видел, как меняются лица мужчин, привыкших к оружию и власти. Возле реликвии они говорили осторожнее, и даже стояли с опаской. Так я рано понял связь между святыней и правом. Хотя король и властвует над людьми, но священная вещь властвует над самой клятвой. Впоследствии, когда мне довелось много размышлять о силе слова, об авторитете текста и о тайне имени, память о *бакхалле Муры* не раз возвращалась ко мне как олицетворение власти, слитой со священным предметом.

В монастыре меня постепенно знакомили с книгами. Сперва восковая дощечка и стилус, потом буква, звук и память псалма, далее — короткие латинские формулы, имена часов, названия дней. Коналл оказался человеком строгим и на редкость терпеливым. Он умел удерживать ученика крепко, без потворства и без раздражения. Его пальцы были вечно в чернилах и пемзе, а голос никогда не торопился. Однажды, уже после нескольких месяцев учения, он показал мне на таблице латинское слово *kalendae*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.